

U. P. Papenburg

Иван Федорович Горбунов

Воспоминания

Актер Горбунов совершал многочисленные поездки по России. Он создал эстрадный жанр устного рассказа, породил многочисленных последователей, литературных и сценических двойников. В настоящее издание вошли избранные юмористические произведения знаменитого писателя XIX века Ивана Федоровича Горбунова.

Содержание

Воспоминания	0005
Белая зала	0097
Перед лицом графа Закревского (Из моей автобиографии)	0127
Послесловие Неподражаемый рассказчик	0137

Иван Горбунов Воспоминания

Воспоминания



В начале декабря 1849 года на письменном столе в кабинете покойного учителя моего Н. В. Берга[1] я увидел четыре тетрадки, сложенные в четверку, писанные разными почерками. На обложке первой было крупно написано «Банкрот». Это слово зачеркнуто и под ним тоже крупно: «Свои люди – сочтемся», [2] комедия в 4-х действиях, соч. А. Островского».

«Какое приятное занятие эти танцы! Что может быть восхитительнее!..» – начал читать я.

Этот монолог охватил все мое существо. Я

прочитал всю пьесу, не вставая с места.

– Позвольте списать, Николай Васильевич! – обратился я к Бергу.

– Сегодня я должен отдать назад. Островский будет читать ее у М. Г. Попова (университетский товарищ Александра Николаевича). Пьеса вряд ли будет напечатана.

В тот же день, в обед, я пришел к Матвею Григорьевичу Попову и предложил ему свои услуги переписать пьесу с тем, чтобы один экземпляр оставить у себя. Писал я в то время отлично.

– Вероятно, автор нам это позволит, – отвечал Матвей Григорьевич, и тотчас же усадил меня в своем кабинете, дал мне какую-то необыкновенно глянцевиую бумагу, на которой писать так же было трудно, как на стекле, тем более что и перья тогда употреблялись более гусиные!

Около восьми часов вечера в кабинет вошел белокурый, стройный, франтовато одетый (в коричневом со светлыми пуговицами фраке и, по тогдашней моде, в необыкновенно пестрых брюках) молодой человек, лет двадцати пяти. Набил трубку табаку, выпу-

стил два-три клуба дыму и сбоку, мельком взглянул на мое чистописание.

Это был А. Н. Островский.

– Позвольте вас спросить, – робко обратился я к нему, – я не разберу вот этого слова.

– «Упаточилась», – отвечал он, посмотрев в тетрадку, – слово русское, четко написанное.

Спросил я, впрочем, не потому, что не разобрал этого слова, а просто я горел нетерпением услышать его голос.

В восемь часов в зале началось чтение. Мы с братом Матвея Григорьевича слушали из кабинета. До конца, до мельчайших подробностей ведомый мне мир, из которого взята пьеса, изумительная передача в чтении характеров действующих лиц произвели на меня неизгладимое до сих пор впечатление.

В течение декабря и января я переписал пьесу три раза и выучил ее наизусть. Она была напечатана в мартовской книге «Москвитянина» 1850 года, но играть ее на сцене не позволили.[3] Автор был взят под надзор полиции.

– Это вам больше чести, – сказал ему граф Закревский, лично объявляя Островскому

распоряжение высшего начальства.

Граф Закревский любил произведения Островского. Пьесы «Свои люди – сочтемся» и «Бедность не порок» автор читал у него в доме.

Надзор был снят по всемилостивейшему манифесту при вступлении на престол императора Александра II.

– Позвольте вас поздравить! – с улыбкою сказал Александру Николаевичу квартальный надзиратель, объявляя ему о снятии с него надзора.

– Вас тоже позвольте поздравить с окончанием беспокойств и поблагодарить, что вы меня здраво и невредимо сохранили.

Квартальный расшаркался.

– Кажется, мы вас не беспокоили и доносили об вас как о благороднейшем человеке. Не скрою, однако, что мне один раз была за вас нахлобучка.

Эта встреча с Александром Николаевичем повлияла на всю мою дальнейшую судьбу. Я жил в то время на окраине Москвы, в захолустье: давал уроки в небогатых купеческих домах.

Я был страстный любитель театра. С одним приятелем мы ходили в Малый театр чуть не каждый день, и сидели всегда в райке. У нас были там свои привилегированные места, которые занимать никто не мог, потому что мы забирались в театр до спуска средней люстры. Соседями нашими были большею частью студенты Московского университета и один почтенный учитель русской словесности Андрей Андреевич, всегда ходивший в синем форменном фраке и белом галстуке. Он постоянно вступал со студентами в спор о пьесе и ее исполнителях.

В зале пусто и темно, лишь в оркестре мелькает несколько огоньков. Посреди мрака и тишины вдруг пиликнула скрипка, ей отвечает другая, третья... Смолкло. Огоньки начинают прибывать. Маленькую трель испустила флейта; дали знать о своем существовании литавры... Свету в оркестре все больше и больше. Дружатся между собою скрипки; крякнул контрабас; нежную, сладенькую нотку дала виолончель... В оркестре начинается полная жизнь: все инструменты пришли в движение. Люстра медленными порывами

выходит из отверстия. Раек с шумом и криком наполняется зрителями. Места берутся с бою.

– Нет, вы позвольте! Мы тоже деньги заплатили.

– Я и в креслах могу сидеть.

– Ну, так туда и пожалуйста по вашему чину.

– Что вы, – в баню, что ли, пришли?

– Послушайте, тут дамы.

– Что ж, мы ничего такого не говорим.

– Поберегите ваши слова для Таганки.

– Мы в Тверской-Ямской живем, а не в Таганке.

– Оно и видно.

Успокоились, уселись.

– Какая игра?

– «Лев Гурыч Синичкин».[4]

– Живокини действует?

– Действует.

– Ублажит! Намедни он на кровати с господином Васильевым[5] разыгрывали... умора!

– Почтенный, подвиньтесь маленько.

– Не забывайся!

– Ух, как страшно!

– В шубе-то, пожалуй, согреешь, а девать ее некуда.

– В шубе совсем невозможно – растаешь: жара, как в кузнице.

– Квасок малиновый!

– Что ты тут топчешься? Еще игра не началась, а уж он с квасом!

– Ты приходи по третьему поту, а теперь пока рано: к твоему квасу еще расположения нет.

– В купонах сидеть превосходнее, а для дам даже очень. А здесь так намнут...

– Кто же это позволит?

– Да тут, тетенька, и позволения вашего не будут спрашивать, потому – теснота. Видите, как народ прет.

Подобные перемолвки продолжаются и во время антрактов.

Купцы, в среде которых мне приходилось бывать, были неохотливы до театра.

– Живем мы в тех же направлениях, как наши старики жили. И слава богу, – лучше нам не надо! – говорили они.

На сцене Большого московского театра знаменитая танцовщица Фанни Эльслер.

Москва преклонялась пред ее талантом. В книжных и музыкальных магазинах выставлены ее портреты; ресторатор Шевалье готовит котлеты а la Fanny Eisler; [6] в табачных магазинах предлагают папиросы Fanny Eisler; модистки мастерят шляпки Fanny Eisler. Имя Фанни Эльслер у всех на языке. Балетоманы наверху блаженства; поэты бряцают на лирах. Увлечение дошло до того, что один солидный чиновник, занимавший видный служебный пост, в порыве восторга, вскочил на козлы кареты артистки и проследовал с нею до ее отеля. Были очень почтенные люди, считавшие за счастье получить от нее на память башмаки, в которых она танцевала. Поэты приветствовали ее восторженными стихами. Н. В. Берг выходил из себя; все ему в ней нравилось.

*Да, мне милы и за то вы,
Что, любя Москву мою,
Полюбили в ней еще вы
Наши горы Воробьевы,
Что гуляли по Кремлю.*

Описывая поездку артистки на Поклонную гору, поэт восклицает:

*На горе у нас Поклонной
Положили вы поклон, —
На горе, отколь в дни оны
Подошли к стенам Москвы,
Распустив свои знамена,
Грозных галлов легионы —
Бонапартовские львы.
Там, свои покинув дрожки,
Вы смотрели на Москву,
Там и ваши чудо-ножки,
Пропорхнувши вдоль дорожки,
Смяли нашу мураву;
И слегка напечатленный
Ваших ножек нежный след,
Вашей славой озаренный,
Прирастет к горе Поклонной,
Прирастет на много лет.[7]*

Андрей Андреевич был в восторге от Фанни и во время антрактов читал нам лекции «о мастерстве и художестве».

— Это — художница! Это — великая художница! Это — предел хореографическому искусству: дальше уже там нет ничего. Все наши танцовщицы перед ней только большие мастерицы и больше ничего! Мне жалко смотреть на прыгающих мужчин, на кружащихся девушек и девочек, но я с благоговением

смотрю на выдвигающуюся из толпы художницу.

А в захолустье у нас так понимали Фанни Эльслер.

– Боже мой, как она превосходно танцует! – говорил в семействе своего дяди, богатого фабриканта, молодой человек, кончивший курс в Коммерческом училище.

– Затанцуешь, как пить и есть захочешь, – и из дудке заиграешь, – замечает дядя.

– Помилуйте, разве можно про Фанни Эльслер так говорить?

– Что она тебе кума, что ли? Ты бы об душе своей больше подумал...

– Душа тут ни при чем, душа цела будет, если я в театр пойду.

– Ну, не скажите! – возражает тетка.

– Что с дураком разговаривать, – заключает дядя, – в церковь ежели придет – одному святому кивнул, другому моргнул, третий сам догадается, а вот но театрам – наше дело.

Такое воззрение на театр все-таки не удерживало захолустье иногда посетить его. Это обыкновенно бывало на масленице. В эти дни театральным начальством и репертуар при-

норавливался ко вкусам захолустья: давали обыкновенно «Парашу Сибирячку», [8] «Наполеоновский генерал, или Муж двух жен», «Идиот, или Гейньбергское подземелье», «Принц с хохлом, бельмом и горбом», и другие, подобные этим пьесы, в которых Живокини и Никифоров клали, как говорится, в лоск почтеннейшую публику. Непрерывный смех и взвизгивание раздавались сверху до низу.

– Положим, что смешно, но ведь это балаган! Тут нет ничего эстетического, – говорил наш ментор Андрей Андреевич.

Я восхищался игрой Живокини, и такой приговор о нем мне не нравился.

– Вы возьмите по сравнению: смех, которым вас дарит Садовский, и смех, который вынуждает из вас Живокини.

И он читал нам лекцию о смехе.

С появлением на сцене комедии Островского «Не в свои сани не садись» на московской сцене начинается новая эра. Я был на первом представлении этой комедии. [9] Она была дана в бенефис Косицкой. Взвился занавес, и со сцены послышались новые слова, но-

вый язык, до того неслыханный со сцены; появились живые люди из замкнутого купеческого мира, люди, на которых или плевал с высоты своего невежества петербургский драматург Григорьев «с товарищи», заставляя их говорить не существующим, сочиненным дурацким языком, или изображали их такими приторными патриотами, что тошно было смотреть на них. Например, в одном водевиле из народного быта мужик поет:

*Русских знает целый свет,
Не с руки нам чванство...
Правду молвил я иль нет*

(Обращаясь к публике):

Пусть решит дворянство.

Посреди глубокой тишины публика прослушала первый акт и восторженно, по нескольку раз, вызывала исполнителей. В коридорах, фойе, в буфете пошли толки о пьесе. Восторгу не было конца. Во втором акте, когда Бородкин поет песню, а Дунюшка останавливает его: «Не пой ты, не терзай мою душу», а тот отвечает ей: «Помни, Дуня, как любил те-

бя Ваня Бородкин...» – театр зашумел, раздались аплодисменты, в ложах и креслах замелькали белые платки.

Восторженный ментор наш Андрей Андреевич обтер выступавшие на глазах его слезы и произнес:

– Это – не игра. Это – священнодействие! Поздравляю вас, молодые люди, вам много предстоит в жизни художественных наслаждений. Талант у автора изумительный. Он сразу встал плечо о плечо с Гоголем.

Под бурю аплодисментов, без апломба, застенчивый, как девушка, в директорской ложе показался автор и низко поклонился приветствовавшей его публике.

Таланты Васильева (Бородкин) и Косицкой (Дуняша) проявились в этих ролях во всю меру. Совершеннее сыграть было невозможно. Это была сама жизнь.

В это время из московских актеров я был знаком только с одним – Петром Гавриловичем Степановым, игравшим в пьесе «Не в свои сани не садись» роль Маломальского, трактирщика.

Петр Гаврилович был человек крайне ори-

гинальный. Несмотря на свои почтенные лета, он часто проделывал ребяческие шутки. Актер он был, как говорится, на вторые роли, но был необыкновенный и замечательный грим. Он мне рассказывал, что император Николай Павлович приказал вызвать его в Петербург для исполнения только одной роли князя Тугоуховского в «Горе от ума». Эту немую роль своим исполнением и гримировкой он выдвинул на первый план. Императрица Александра Феодоровна при появлении его на сцену признала в нем одного московского сановника (князя Юсупова) и очень смеялась.

Вскоре после первого представления «Не в свои сани» он пригласил меня пить чай в трактир Пегова, где теперь ресторан «Эрмитаж» Оливье. Выпили мы «четыре пары» (так в то время определялась порция чаю), – Петр Гаврилович отдал половому деньги, который через минуту принес их обратно и положил на стол.

– Что значит? – с удивлением спросил Петр Гаврилович.

– Прикащик не берет, – с улыбкой отвечал

половой.

– Почему?

– Не могу знать, не берет. Ту причину пригоняют...

– Извините, батюшка, мы с хозяев не берем, – сказал, почтительно кланяясь, подошедший приказчик.

– Разве я хозяин?

– Уж такой-то хозяин, что лучше требовать нельзя! В точности изволили представить. И господин Васильев тоже... «кипяточку!»... на удивление!

– За комплимент благодарю сердечно, а денюга все-таки возьми.

Постом 11 марта 1853 года сгорел Большой московский театр. Пожар начался утром. Шел маленький снежок. Я был на этом пожаре. Смелого и великодушного подвига кровельщика Марина, взобравшегося по водосточной трубе под самую крышу для спасения театрального плотника, – не видал. Зрелище пожара было внушительно. Странно было смотреть, как около этого объятых пламенем гиганта вертелись пожарные со своими «сприн-

цовками». Брандмайор, брандмейстеры, пожарные неистово кричали осиплыми, звериными голосами:

– Мещанская, качай!

Труба Мещанской части начинает пускать из своего рукава струю, толщиной в указательный палец. Две-три минуты покачает – воды нет.

– Воды! – кричит брандмейстер. – Сидоренко! В гроб заколочу!..

Сидоренко, черный как уголь, вылупив глаза, поворачивает бочку.

– Сретенская!.. Берегись!..

– Публика, осадите назад! Господа, осадите назад! – кричит частный пристав.

Никто не трогается с места, да и некуда было тронуться: все стоят у стены Малого театра. Частный пристав это так скомандовал, для собственного развлечения. Стоял, стоял, да и думает: «Дай крикну». И крикнул... Все лучше...

– Назад, назад! Осадите назад! – вежливо-презрительным тоном покрикивает, принимая на себя роль полицейского, изящно одетый адъютант графа Закревского.

Все стоят молча. Аdjютант начинает сердиться.

– Я прикажу сейчас всех водой заливать! – горячится адъютант.

– Вода-то теперича сто целковых ведро! Киятру лучше прикажите заливать, – слышится из толпы.

Хохот.

– Два фантала поблизости, из них не начерпаешься. На Москву-реку за водой-то гоняют. Скоро ли такой огонь ублаготворишь?

– Смотри, смотри! Ух!

Крыша рухнула, подняв кверху мириады искр.

А гигант все горит и горит, выставляя из окон огромные пламенные языки, как бы подразнивая московскую пожарную команду с ее «спринцовками». К восьми часам вечера и начальство, и пожарные, и лошади – все выбились из сил и стояли.

Летом последовала война с Турцией. К осени с берегов Дуная стали приходить известия о небольших стычках наших войск с турецкими, Расположенные в Москве войска, напут-

ствуемые благословением московского первосвятителя Филарета, выступали на брань. «Московские ведомости» становились с каждым днем интереснее. Патриотический дух Москвы поднимался все выше и выше. Загудели московские колокола при известии о Синопском бое; возликовала Москва от победы Бебутова[10] над сераскиром[11] эрзерумским. В «Московских ведомостях», чуть не в каждом номере, стали появляться патриотические стихотворения дотоле неведомых поэтов – В. Павлова, Веры Головиной, Е. Колюпановой, князя Цертелева, Василия Поедугина; потом пошли известные литераторы М. А. Стахович[12] и Ф. Б. Миллер,[13] наконец, стали по рукам ходить стихотворения Хомякова [14] «Тебя призвал на брань святую», «Глас божий! Сбирайтесь на праведный суд» и знаменитое в то время стихотворение «Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон», положенное на музыку двумя композиторами – Бавери и Дюбюком и иллюстрированное П. И. Боклевским.[15] Б. Н. Алмазов[16] написал стихотворение «Крестоносцы». Ликования продолжались, а с Запада шли к нам грозные

тучи, чувствовалось, что ликованию наступит конец. У Иверской, в здании присутственных мест, и на Воздвиженке, в казенной палате, раздавались стоны и рыдания рекрутских жен и матерей.

«Набор!» Боже, что это за страшное слово было в то время! Что за страшные сцены совершались в рекрутских присутствиях!

– Годен в команду! – раздается голос председателя рекрутского присутствия.

– Бог с тобой, Микита Митрич! Задаром ты нашу семью разоряешь, – говорит, всхлипывая, рекрут сдатчику-миroeду, – твоему племяннику идти следует.

– Ваше сиятельство, – вырываясь из рук солдата, говорит, обращаясь к присутствию, рекрут. – Я могу! Нужды нет, что пьяный! Ежели мне теперича еще поднести – я куда угодно!

– Ежели он деревню спалил – ему в Сибири место, а ты его в некрута царские привез, – говорит старик-крестьянин барскому приказчику. – Которые на очереди, ты тех не отдаешь!

– Тятенька, голубчик! Затылочек заметить приказала – радостно вскрикивает молодой

красивенький парень, выскакивая из дверей присутствия. – Расширение жилы!

– Тебе как затылок-то брить: по-модному, что ли? – острит цирюльник – солдатик из жидков.

– Нам все одно, – отвечает за сына старик отец, – стыда в этом нет. Садись, Петруша, садись. Мать-то уж, чай, там досыта навылась!

– В госпиталь на испытание! – раздается голос председателя.

– В гошпиталь на воспитание! – кричит солдатик, выпроваживая из присутствия «сомнительного» рекрута.

– Я человек ломаный! Мне сорок годов. У меня уж скрозь ребра кишки видно, а меня в солдаты! Какой же это порядок! Какой я солдат! Мне, по-божьему-то, в богадельню бы куда... Мало ли нашего брата мещанина путается, которые непутные сами продаются в охотники. Я живописец, образа писал, никого не трогал... – говорит, трясясь всем телом, бледный, худой посадский мещанин.

– Мастеровщина ваша так теперь и летит! – замечает один из сдатчиков. – Портных очень начальство обожает: как сейчас порт-

ной, так и пожалуйте!

– Портной теперь человек нужный.

– Ну, положим портной, – вмешивается кто-то, – а ежели сайками кто торгует – тех за что? На Яузском мосту вчера одного так с лотком в прием и потащили.

Сердце надрывалось, – больно было смотреть на новых рекрутиков, препровождаемых вечером в Крутицкие казармы.[17] Толпа, стоявшая несколько часов без порток в рекрутском присутствии, ожидая своей очереди, обезображенная жидом-цирюльником – это было переселение душ на двадцать пять лет в иной мир, в мир розог, шпицрутенов, фухтелей,[18] линьков,[19] зуботычин.

Во время набора последовал манифест о разрыве дипломатических сношений с Англией и Францией. Московский трактир обругал Наполеона жуликом.[20]

В театре в это время дела шли своим порядком. Из Петербурга прислана была для постановки новая пьеса актера Григорьева «Подвиг Марина». Из уважения ли к подвигу, или по другим причинам, эту нелепость сыграли,

и успеха она никакого не имела.

В один из спектаклей я узнал от моего приятеля, что Островский написал новую пьесу «Бедность не порок».[21] На другой же день я пошел к Александру Николаевичу. Он жил тогда у Николы в Воробине, под горой, на берегу реки Яузы, в собственном небольшом деревянном домике. Домик этот стоит и поныне. Но... там, в этом домике, где великий художник свои «вещие персты на живые струны вскладаше» и эти струны пророкотали «Свои люди – сочтемся», «Грозу», «Воеводу», – там теперь увеселительное заведение с «распитием на месте».

Александр Николаевич принял меня крайне ласково, и я стал переписывать пьесу у него в кабинете. На другой день его посетил Аполлон Александрович Григорьев. Не придавая никакого значения своим рассказам – у меня их в то время было три: «Сцена у квартального надзирателя», «Сцена у пушки» и «Мастеровой», – я рассказал сначала одну сцену, потом другую, потом третью. Аполлон Александрович затребовал продолжение, но у меня больше не было. Александр Николаевич

сдержанно, а Аполлон Александрович восторженно похвалили меня.

– Вы наш! – воскликнул он, ударяя меня по плечу. Дня через два Александр Николаевич читал пьесу у себя. Собрались ее слушать: Н. А. Рамазанов,[22] П. М. Боклевский, А. А. Григорьев, Е. Н. Эдельсон,[23] Б. Н. Алмазов, А. И. Дюбюк и другие. Ждали П. М. Садовского, но он не был. Всем присутствовавшим пьеса была уже известна: они слушали ее во второй раз. После чтения Александр Николаевич предложил мне рассказать мои сцены. Успех был полный. С этого вечера я стал в этом высокоталантливом кружке своим человеком. Е. Н. Эдельсон стал мне давать небольшие книжки для рецензии в «Москвитянине», а Аполлон Александрович настоятельно требовал, чтобы я написал что-нибудь для журнала. Я написал небольшую сцену «Просто случай», помещенную потом в «Отечественных записках» 1855 года.

Александр Николаевич меня вывозил в свет, до Погодина включительно. Мы были несколько раз у графини Е. П. Растопчиной, у С. А. Пановой. Она жила на Собачьей площад-

ке. Сын ее, Николай Дмитриевич, страстный любитель музыки и литературы, устраивал у себя спектакли.[24] В одном из спектаклей участвовал Александр Николаевич в роли Маломальского, и я вышел в первый раз на сцену в роли полового.

На этом спектакле я в первый раз познакомился с Провом Михайловичем Садовским. Он остался очень доволен моими рассказами, и я несказанно был счастлив, что вызвал смех у царя смеха.

– Приходите ко мне каждый день, – сказал мне на прощанье Пров Михайлович.

И стал я к нему ходить каждый день, и привязался я к этому редкому человеку и гениальному артисту всей душой, и пользовался его взаимной любовью до конца его дней. Он тоже полюбил меня и поручил мне обучение своего сына Миши[25] грамоте. Мальчик оказался чрезвычайно способным, и мне не стоило никакого труда заниматься с ним.

Принимала также участие в спектаклях Н. Д. Панова графиня Растопчина, сама писавшая для себя небольшие пьески, обыкновенно в два-три лица и разыгрывала их с И. В. Са-

маринным, актером Малого театра. Режиссерскую часть принимали на себя Н. А. Рамазанов и Н. И. Шаповалов.[26] Спектакль заключался дивертисментом,[27] в котором участвовали А. И. Дюбюк, П. М. Садовский и я.

Гостеприимные двери А. А. Григорьева радушно отворялись каждое воскресенье. «Молодая редакция» «Москвитянина» бывала вся налицо: А. Н. Островский, Т. И. Филиппов,[28] Е. Н. Эдельсон, Б. Н. Алмазов, очень остроумно полемизировавший в то время в «Москвитянине» с «Современником» под псевдонимом Ераста Благодурова. Шли разговоры и споры о предметах важных, прочитывались авторами новые их произведения: так, Борис Николаевич в описываемое мною время в первый раз прочитал свое стихотворение «Крестоносцы»; А. А. Потехин, только что выступивший на литературное поприще, – свою драму «Суд людской – не божий»; А. Ф. Писемский, ехавший из Костромы в Петербург на службу, устно изложил план задуманного им романа «Тысяча душ». За душу хватала русская песня в неподражаемом исполнении Т. И. Филиппова; ходенем ходила гитара в руках М. А. Стахо-

веча; сплошной смех раздавался в зале от рассказов Садовского; Римом веяло от итальянских песенок Рамазанова. Вот одна из его песенок:

*Отслужили литанию[29]
Богоматери святой.
И засел в исповедницу
Капуцин[30] седой.
Перед старцем на коленях,
Утопаючи в слезах,
Мариуччи молодая
Кается в грехах:
«Padre mio![31]» Влюблена я...»
«Что ж, мое дитя,
То не смертный грех —
Случалось, был влюблен и я».
«Вот что, padre, онамедни
Дома я была одна,
Мама с братом у обедни,
Я стояла у окна...
Вдруг стучится кто-то в двери...
Сердце замерло во мне!
То был он!.. Мадонна Sancta![32]
Буду я гореть в огне?»
«И ты двери отворила?...
Sancta Trinita!»[33]
«Отворила», что ты, padre!*

Дверь была не заперта».

Бывали на этих собраниях: Алексей Степанович Хомяков, Никита Иванович Крылов, [34] Карл Францевич Рудько.[35] Из музыкально-артистического мира: А. И. Дюбюк, И. К. Фришман,[36] певец Бантышев[37] и другие. Не пренебрегал этот кружок и диким сыном степей, кровным цыганом Антоном Сергеевичем, необыкновенным гитаристом, и купцом «из русских» Михаилом Сергеевичем Соболевым, голос которого не уступал певцу Марио. [38]

Чуть не каждый день Александр Николаевич уезжал куда-нибудь читать свою новую пьесу. Толков и разговоров о ней по Москве было много. Наконец она назначена к представлению. Роли были розданы, и автор прочел ее артистам в одной из уборных Малого театра.

Часто посещая Прова Михайловича за кулисами во время репетиций и спектаклей, я перезнакомился со всеми артистами. Московская труппа того времени сияла своими талантами. Маститый ветеран сцены Щепкин хотя и готовился к празднованию своего пя-

тидесятилетнего юбилея, но талант его не угасал. Городничий, Фамусов, Утешительный[39] являлись на сцене все теми же нестареющими созданиями. Колоссальный талант Садовского, после исполнения им купца Русакова в «Не в свои сани не садись» Островского, вырос во всю меру; молодое дарование Сергея Васильева проявилось во всем блеске. Самарин, в своем неблагодарном репертуаре молодых людей, стоял очень высоко; Шуйский, вернувшийся из Одессы, сразу занял в труппе почетное место. А какие были первоклассные актеры: Живокини, Никифоров, Степанов!.. Женский персонал, хотя сравнительно и бедный по количеству, не отставал от мужского по качеству. Какие слезы извлекала у зрителей Л. П. Косицкая; какими живыми лицами являлись на сцене А. Т. Сабурова, С. П. Акимова и сестры Бороздины – Варвара и Евгения; с какой художественной правдой передавала свои роли Екатерина Николаевна Васильева!

Мнения в труппе относительно новой пьесы разделились. Хитроумный Щепкин, которому была назначена роль Коршунова, резко порицал пьесу. Он говорил: «Бедность не по-

рок, да и пьянство – не добродетель». Шуйский следовал за ним. Он говорил: «Вывести на сцену актера в поддевке да в смазных сапогах – не значит сказать новое слово». Самарин, принадлежавший к партии Щепкина, хотя и чувствовал, что роль (Митя) в новой пьесе ему не по силам, – молчал. А Петр Гаврилович Степанов говорил: «Михаилу Семеновичу с Шуйским Островский поддевки-то не по плечу шьет, да и смазные сапоги узко делает – вот они и сердятся». Точно: ни ветерану русской сцены, ни блестящему первому любовнику Самарину, ни прекрасному (водевильному в то время) актеру Шуйскому новые, неведомые им типы Островского не удавались. «Новое слово» великого писателя застало их врасплох. Для этого «слова» выдвинулись свежие, молодые силы в лице С. В. Васильева и И. П. Косицкой и, соединившись с Садовским и Степановым, поставили репертуар Островского так высоко, что он на долгое время сделался господствующим на московской сцене.

Михайло Семенович должен был посторониться, и, мне кажется, в этом и вся причина

его нерасположения к пьесам нового писателя. Невозможно, чтобы мог величайший из русских артистов, издавший на своем веку всякие виды, живший духовной жизнью в самом ученом и образованном кругу, пятьдесят лет прослуживший драматическому искусству, мог не понять таких созданий, как «Свои люди – сочтемся», «Бедная невеста», «Не в свои сани не садись», а он прямо говорил, что он их не признает, а об «Грозе» отзывался с отвращением. В споре об этой пьесе он до того разгорячился, что стукнул костылем и со слезами сказал:

– Простите меня! Или я от старости поглупел, или я такой упрямый, что меня сечь надо.

Садовский объяснял это по-своему:

– Ну, положим, Михаил Семенович может дурить на старости лет: он западник, его Грановский насprinцовывает, – а какой же Шуйский западник? Он – Чесноков.[40]

Объясняли это еще тем, что круг, в котором вращался Михаил Семенович, так называвшиеся в то время «западники» (Грановский, Кудрявцев,[41] Катков), не приветливо

смотревшие на нового автора, который, за принадлежность к «молодой редакции» «Москвитянина», сопричастен был к лику славянофилов.

Все-таки на конце своей славной жизни, года за три или четыре до смерти, ветеран-художник протянул руку примирения Любиму Торцову и сыграл его в Нижнем Новгороде (не знаю – повторил ли он эту роль в Москве). С потоком слез обнял он и...

Мы участвовали на литературном утре в Московской четвертой гимназии, в доме Пашкова. Читали А. Н. Островский, П. М. Садовский, М. С. Щепкин, С. В. Шуйский, И. В. Самарин и я. Блестящая публика собралась на наше чтение, тем более что сбор с него поступал в одно из благотворительных заведений, и раздачу билетов приняли на себя дамы высшего света.

Вышел на эстраду Михаил Семенович. Долго неумолкавшим громом рукоплесканий встретила его публика. Кончился восторженный прием. Михаил Семенович стоит молча... Аплодисменты раздаются снова... Молчание* – Старик забыл, – говорит Шуйский. Гробо-

вое молчание.

– Столбняк нашел! Надо выйти подсказать, – говорят.

На меня пал жребий идти на эстраду. Что подсказать? Кажется, на афише не было назначено, что он будет читать. Кто говорит – «Полководец» Пушкина; кто говорит – про Жакартов станок,[42] стихотворения, которые он читал часто.

Наш Щепкин не раз про Жакартов станок

*Рассказывал нам со слезами, —
И сам я от слез удержаться не мог,*

И плакали Корши[43] все с нами.

Решили: про Жакартов станок.

Я вышел на эстраду и сказал совсем растерявшемуся Михаилу Семеновичу первый стих:

Честь и слава всем трудам...

Старик воспрянул и с страстным одушевлением прочитал стихотворение (это было за два года до его смерти).

– Что с вами, Михаил Семенович? – окру-

жили его, когда он вошел в залу, из которой выходили на эстраду.

– Да уж, должно быть, к праотцам пора! А тебе большое спасибо! – обратился он ко мне. – Я думаю, тебе конфузнее было выходить, чем мне молча стоять.

– Мы не знали, что вы хотите читать: мы думали подсказать вам «Полководца», – сказал Самарин.

– Совсем бы зарезали! «Полководца» уж я давно не читал, а это-то сегодня раза три пробежал, – отвечал Щепкин.

С потоком слез обнял он меня и в то же время Островского. Сцена была чувствительная. Не помню слов, какие говорил Щепкин, но помню, что Александр Николаевич очень растрогался.

– Какой счастливый Александр Николаевич! – сказал Садовский, когда мы пошли домой.

– Чем?

– Как чем? Михаил Семенович-то «приидите поклонимся» ему сделал.

В театре также были славянофилы и запад-

ники. Щепкин, Шуйский, Самарин были западники, Садовский был славянофил.

– Любовь, ты западница или славянофилка? – обратился раз Садовский к Л. П. Косицкой.

– Я, милый мой, на всякое дело гожусь, лишь бы правда была. Ты какой веры – славянофил? Ну, я с тобой на край света пойду. А вот Шуйский западник, – может, его вера и лучше твоей, только от нас подальше, – отвечала веселая Любовь Павловна.

Знаменитая актриса Аграфена Тимофеевна Сабурова называла театральных западников «хлыстами».

– Сережа, – говорила она С. В. Васильеву, – ты не вздумай в их компанию перейти – я с тобой играть не стану.

Садовскому от западников сильно доставалось. Ленский писал на него грубые эпиграммы и вообще на его счет острословил. Как актер, он стоял далеко не на первом плане, хотя и играл Хлестакова, но знал французский язык, хорошо переводил и переделывал водевили, писал гладко стихи, что в то время ставилось в заслугу. Образованья был невысоко-

го, эпиграмма его не была «хохотунья» и часто обличала в ее авторе отсутствие литературного вкуса, ни для акафиста[44] ему, ни для печатного станка не годилась, но в своем кружке, в веселой компании, в купеческом клубе, в кофейной Московского трактира, – цена ей была высокая. Оставшиеся в живых, уже убеленные сединами бывшие бражники и весельчаки доньше вспоминают веселые беседы с участием Д. Т. Ленского, человека нервного и раздражительного. Пословица говорит: «Для красного словца не пожалеет родного отца». Так и он: поздравляя, со слезами на глазах, М. С. Щепкина с предстоящим пятидесятилетним юбилеем, он в ту же минуту изрек:

*Заиграет оркестр Сакса,
И запенится Аи,
Зарыдает старый плакса,
А с ним денежки мои.*

Приглашенный на один роскошный обед в какой-то ресторан в качестве гостя, он дает такой отчет об этом обеде:

Обед наш был весьма негоден,

*Не много было и ума:
Нам речи говорил Погодин,
А деньги заплатил Кузьма.[45]*

Мы все ждали с нетерпением первого представления «Бедность не порок». Начались репетиции, и мы с Александром Николаевичем бывали на сцене каждый день. Наконец, пьеса 25 января 1854 года была сыграна и имела громадный успех. Садовский в роли Любима Торцова превзошел самого себя. Театр был полон. В первом ряду кресел сидели: граф Закревский и А. П. Ермолов,[46] большой почитатель Садовского.

– «Шире дорогу – Любим Торцов идет!» – воскликнул по окончании пьесы сидевший с нами учитель российской словесности, надевая пальто.

– Что же вы этим хотите сказать? – спросил студент. – Я не вижу в Любиме Торцове идеала. Пьянство – не идеал.

– Я правду вижу! – ответил резко учитель. – Да-с, правду! Шире дорогу! Правда по сцене идет. Любим Торцов – правда! Это – конец сценическим пейзажам,[47] конец Кукольнику:[48] воплощенная правда выступи-

ла на сцену.

«Московские ведомости», единственная тогда газета, не обмолвилась ни одним словом о новой пьесе; лишь Н. Ф. Щербина почтил автора гнусной эпиграммой.[49]

Вплоть до масленицы пьеса не сходилась с репертуара, несмотря на то, что ее загоразивала гостившая в то время в Москве знаменитая Рашель.[50] Москва чествовала ее по-московски: в последний спектакль на масленице, в воскресенье, ей поднесен был от публики серебряный кубок с изображением московского герба; М. С. Щепкин поднес ей каллиграфическую рукопись «Сцены из «Скупого рыцаря». К рукописи были приложены картинки, заимствованные из содержания сцен, два вида Москвы, свой портрет и французские стихи, «мастерски написанные женщиной-поэтом», как сказано в «Московских ведомостях». Говорили, что стихи писала графиня Растопчина. Западники были в полном увлечении от Рашели, а славянофилы воздали «коемуждо по делом его». Аполлон Александрович Григорьев ответил Щербине тоже эпиграммой и написал стихотворение «Ра-

шель и правда».[51]

Злоба Щербины не имела границ. Он, кроме злостной эпиграммы, поддерживал еще клевету на Александра Николаевича в плагате первой комедии. Клевета эта печатно поднималась два раза, пока не вызвала протеста Александра Николаевича,[52] напечатанного в «Современнике». Клеветники приписывали пьесу купеческому сыну Гореву, который написал ужаснейшую дребедень под заглавием «Сплошь да рядом», напечатанную в «Отечественных записках». Один актер хлопотал о пропуске ее в театрально-литературном комитете. Комитет был последователен в притеснении Островского. Комитет пропустил, а вскоре «ничтоже сумняшеся» забраковал прелестнейшую комедию Островского «Свои собаки грызутся».[53] Спустя год министр двора граф В. Ф. Адлерберг велел пьесу пересмотреть вновь, другими словами – пропустить. Комитет с важностью занес в журнал. Пьеса была сыграна с большим успехом и долго оставалась на репертуаре, а член театрально-литературного комитета Ротчев после первого представления написал в «Инвалиде» о

неуспехе пьесы[54] и окончательном падении таланта Островского. Из четырех членов театрально-литературного комитета, подавших голос против пьесы, остались неизвестными для потомства три: четвертый заявил себя печатно (А. Г. Ротчев), отозвавшись крайне неодобрительно и с чувством озлобления. Я написал против его отчета несколько слов в «Северной пчеле» и дорого за это поплатился. Мне было сделано от начальника репертуара строгое внушение, что, состоя на службе, и т. д. Сколько я ни оправдывался, что это дело частное, несколько до службы моей не относящееся, но начальство стояло на своем.

De mortuis..., [55] но Ротчев не был в театре и пьесы не видал, и был в этом уличен. Подобные отчеты бывали прежде нередко. Писались даже отчеты заблаговременно. Так, директору Сабурову одна русская княгиня за границей рекомендовала принять на службу в русскую оперу соотечественника, обладавшего, по ее словам, необыкновенным голосом. В самом же деле у этого певца голосу было только на пятиалтынный. Директор исполнил просьбу и заключил с певцом контракт.

Газеты зашумели: из-за границы едет необыкновенный певец, берет ут-диез чище Тамберлика, будет дебютировать в «Отелло» и т. п. Явился этот певец. То был Кравцов. На репетиции дебютант проявил все данные ему богом голосовые средства: оказалось очень мало. Но этому не поверили: одни отнесли к застенчивости, другие к желанию дебютанта показать себя во всем блеске на первом представлении.

Петр Ильич Юркевич,[56] член театрально-литературного комитета, принадлежал к числу последних. Едучи в театр, он завез в типографию одной газеты, в которой был постоянным сотрудником, несколько прочувствованных слов о первом дебюте: «При появлении певца-феномена зала задрожала от рукоплесканий». Ут-диез поразил всех, как громом. Весь фешенебельный Петербург присутствовал на торжестве молодого дебютанта. Подробности завтра». Действительно, в зале Мариинского театра весь фешенебельный Петербург был в этот вечер. Действительно, раздались аплодисменты при появлении нового певца, но не только ут-диеза, даже никакого

голоса фешенебельному Петербургу певец не предъявил, беспокоил только почтеннейшего Юркевича, который во время антракта должен был съездить в типографию и взять у наборщика свой восторг обратно.

В одну из поездок по Волге в Казани я познакомился с Горевым: он был актером в казанской труппе. Это был настоящий Любим Торцов. Оборванный, обдерганный пьяница, неоднократно подвергавшийся припадкам белой горячки, человек буйный. Перед моим с ним знакомством он только что вышел из больницы, где лечился от нанесенной ему каким-то трагиком в живот раны той же самой посудой, из которой они вместе пили. Да не подумайте, что я кладу очень густые краски на эту личность для того, чтобы выставить ее рельефнее, – нет! – это есть истинная правда. В дни оны подобные люди представляли тип. Они обыкновенно выходили из разоренного купеческого гнезда. Разорился, например, купец и побрели розно все родственники, составлявшие дом: «купеческие братья, купеческие племянники, тетки и т. п.». Бессильные и дряхлые, становившиеся на паперти цер-

ковной, тетки расползаются по пустыням[57] и монастырям, в которых они прежде считались благодетельницами. Молодежь, вкусившая на дядин капитал всех прелестей прежней Нижегородской ярмарки с ее историческим селом Кунавиным, с трактирами Никиты Егорова, Барбатенки и т. п., путались по Москве без всякого дела. Иные пристраивались к какому-нибудь певческому хору, другие продавались в солдаты, а некоторые поступали в актеры. Таких актеров прежде в провинции можно было встретить много. Горев происходил именно из разоренного купеческого гнезда. Я не могу понять, каким образом литературным людям, беседовавшим с Горевым, могло прийти в голову, что он мог написать такую высокую комедию, как «Свои люди – сочтемся»? Ведь это был человек необразованный, даже малоразвитый. С особенным чувством эта клевета поддерживалась в одном петербургском литературном кружке. В 1846 году Т. И. Филиппов познакомился с Островским и застал пьесу черновою. Сам он третий акт переписывал с Н. В. Кидошенко-вым.[58]

Вероятно, эту сплетню распустил сам Горев, потому что ни на одного Островского он посягнул: Горев впоследствии присваивал себе пьесу Чернышева[59] «Не в деньгах счастье», но эта сплетня дальше актерского кружка не пошла.

Горев в разговоре со мною уклонялся разъяснить мне эту гнусную историю, но назвал лиц, которые ему покровительствовали в Москве. Это был несчастный человек, страдавший галлюцинациями. Он умер, подавившись рыбной костью.

Вслед за Островским попробовали свои силы в изображении купеческого быта актер Красовский, написавший комедию «Жених из ножовой линии», М. Н. Владыкин[60] – пьесу «Купец-лабазник». Она и до сих пор играет в провинции, но в Москве была снята после нескольких представлений по распоряжению графа Закревского, и вот почему. Владыкин был военный инженер; написал свою комедию в Петербурге. Главное действующее лицо в пьесе был купец Голяшкин. Эту роль в Москве играл Садовский. На несчастье автора, в Москве отыскался не вымышленный, а

настоящий купец Голяшкин. Пошел по купечеству разговор. Заходили слухи, что племянники Голяшкина по злобе на дядю заказали написать пьесу, чтобы «пустить на него мораль». Хотя в пьесе никаких намеков на настоящего Голяшкина не было, но все-таки она была снята в уважение заслуг его по благотворительным учреждениям. Запрещение мотивировали тем, что в пьесе унижается благородное сословие.

За Владыкиным выступил ходатай по судам от купечества Н. З. Захаров, которого купцы звали Сахар Сахарычем.

Затем написал пьесу купец Солодовников. Этому творению не суждено было восхищать публику: оно осталось в конторе у автора. Оба же эти произведения кружились около «Свои люди» и «Не в свои сани». Далее принес на рецензию Александру Николаевичу пьесу из купеческого быта Осипов: ее не играли, но впоследствии она была напечатана в «Отечественных записках».

В течение трех лет три пьесы нового автора («Бедная невеста», «Не в свои сани» и «Бедность не порок») сделали крупный поворот

драматического репертуара на новую дорогу. Затребовались бытовые пьесы. Этому повороту помогли одновременно с первой пьесой Островского появившиеся на сцене пьесы: Сухово-Кобылина «Русская свадьба», драма «Расставанье» Родиславского,[61] потом пьесы из народного быта «Суд людской – не божий» А. А. Потехина и другие. Полевой,[62] Кукольник, Ободовский[63] и вся французская мелодрама сошли со сцены. Мелодраму, впрочем, изредка поддерживал М. С. Щепкин, неподражаемо исполняя роль матроса[64] в пьесе того же названия. Шекспир, немножко сконфуженный Самариным в роли Гамлета,[65] тоже посторонился и дал дорогу новому репертуару, тем более, что Леонид Львович Леонидов, лучший представитель каратыгинских традиций, вызванный в Москву для замещения Мочалова, был снова вызван в Петербург для замещения скончавшегося Каратыгина.

Каратыгин невысоко стоял во мнении наших учителей: он отличный актер, но не Павел Степанович (Мочалов) – до него ему далеко.

– Да-с, батюшка, далеко, – говорил Садов-

ский. – Вот Аполлон чудесно сказал:

*Мы Веронику с ним любили,
За честь сестры мы с Гюгом
мстили,
И – человек уж был таков —
Мы терпеливо выносили,
Как в драме хвастал Ляпунов.[66]*

– Позвольте вам доложить, – заносчиво возразил бывший в Москве молодой петербургский актер, – Белинский сказал о Каратыгине в «Велизарии»...[67]

– Это для вас, – обиделся Садовский, – для Санкт-петербургских, Белинский – евангелие, а для нас он ничего не значит. Мы сами кое-что понимаем и без Белинского. Белинский нам не указ.[68] Мы своим умом живем. Да что тут и играть-то в «Велизарий»? [69] Всякий московский протодьякон сыграет Велизария. Кричи громче – вот тебе и Велизарий! А вот Гамлета ваш Каратыгин играет очень нехорошо, а Павел Степаныч... Да вот что! – разгорячился Садовский. – Я играл с ним в «Гамлете» Гильденштерна.

– «Сыграй мне что-нибудь», – говорил он, подавая мне флейту...

– «Я не умею, принц...» – отвечал я, взглянув на него... Чувствую по всему телу озноб, зубы у меня задрожали. С этой минуты я и постиг, что значит актер.

– Значит, вы находите, что у Мочалова было больше, как говорят французы... чем у Каратыгина?

Садовский ехидно улыбнулся, потому что споривший щегольнул французской фразой, не зная французского языка.

– Не знаю, что французы говорят, а вот у нас говорят, что Мочалова с вашим Каратыгиным равнять нельзя. Мочалов – гений!

– Нельзя же отказать Каратыгину...

– Да мы и не отказываем, а сажаем всякого на свое место. Мартынов у вас – вот актер! Чудеснейший актер! Ну, какой Каратыгин Гамлет, какой он Чацкий? Это какой-то директор департамента... Отнимите у него рост, что он с одним своим басом сделает? Он холодный актер, деланный: ему только и играть Кукольника да Ободовского...

– А Белинский!.. – вскочил актер.

– Ну, что Белинский? И Белинский говорит, что он Гамлета играть не умеет.

Прекрасно сыгранная Л. Л. Леонидовым в Москве роль была в пьесе «Бенвенуто Челлини[70]», и чуть ли она была не последняя в его огромном репертуаре. Мне кажется, что после этой пьесы, пародируя стих поэта:[71]

*Грустным взором он окинул
Ряд ролей своих,
Шапку на брови надвинул,
И навек затих.*

И много тогда затихало актеров!

Не без сожаления рассталась с Леонидовым Москва, привыкшая любить его. С грустью расстались с ним друзья его А. Н. Островский и П. М. Садовский и все товарищи по искусству.

В моем собрании автографов есть письмо знаменитой в те дни актрисы М. Д. Львово-Синецкой к Ф. А. Кони: «Вы, я думаю, уже слышали новость театральную, что к вам в Петербург берут от нас Леонидова. Признаться, это – потеря для нашего театра: он сделался замечательным артистом».

Дом Леонида Львовича был открыт для представителей всех родов искусства: актеры,

литераторы, художники, певцы – все были его дорогими гостями, читали, играли на бильярде, пели, спорили. Больше всех по своей горячей натуре спорил сам хозяин. В числе его друзей чаще всех можно было встретить А. Н. Дьякова. Прекрасный каллиграф, равно-го которому не было в Москве (его прописи для юношества были в употреблении почти во всех учебных заведениях), рисовальщик пером, подражатель Мочалову в чтении стихов, сам стихотворец, друг поэта Полежаева, страстный любитель театра, сам пробовавший свои силы на императорской сцене в драме «Жизнь игрока», – этот человек вел бездомную, скитальческую жизнь и кончил дни свои в больнице. Ни одного его стиха не было напечатано, но в рукописи они были распространены. Особенно нравилось его послание к друзьям из больницы. Привожу несколько стихов:

*За безгрешность житья
На больничную я
Попал койку, —
Где смекают умом
В организме моем*

*Перестройку.
И улар был, друзья,
От хмельного питья —
С перепоею.
День и ночь я, друзья,
Был свиньей свинья
От настою.
Больше всех эконоом
За больничным столом
Смотрит строго.
С ним инструкция есть,
Чтоб по форме всем есть,
Есть немного.
А уж сколько сортов
Мне втирают спиртов
Все снаружи.
Но их в тело втирать,
Чем в утробу вливать
Много хуже.*

И так далее.

Одно время он пребывал у Меркли (писал в «Московском наблюдателе» под псевдонимом Иеронима Южного). Матушка Меркли получила из своего имения балыки. Дьяков обращается с таким посланием:

*Вчера из Харькова балык
Остановился в доме Меркли,*

*А тот балык уж так велик.
Что даже очи всех померкли.
Вчера из Харькова балык
Приехал в древнюю столицу,
А тот балык уж так велик.
Что мог прельстить бы и царицу.
Но я не царь и не царица,
А просто Алексей Дьяков.
Пришлите ж, несмотря на лица,
Нам на закуску балыков!*

А вот еще обращение его к Фебу:

*О, Феб, к тебе я обращаю
С молитвой чистой голос мой,
Но не китайского я чаю
Прошу с больною головой,
Не жирных рябчиков в причуде —
С салатом, свежим огурцом, —
Не стерлядь пышную на блюде,
Роскошно свернуту кольцом.
Мое желанье не роскошно,
Неприхотливое оно:
О, боже, боже, как мне тошно,
Щемит в груди моей давно...
О, Феб, ведь только лишь семь
гривен
На водку пенную прошу,
А семь копеек, что ты дивен,*

На твой я жертвенник вношу.

Перевод Леонидова в Петербург не был особым счастьем для артиста, а скорее окончанием его артистической карьеры. При полном развитии своего таланта и сценической опытности он не нашел себе (на петербургской сцене) репертуара (например, в новом произведении Кукольника «Ермил Костров» первенствовал В. В. Самойлов, который стал также играть Шекспира). Со смертью Каратыгина и Брянского репертуар Шекспира заглох, давали одного «Гамлета», которого играл А. М. Максимов. Блестящая роль Людовика XI («Заколдованный дом» [72]), в котором был велик Каратыгин, хотя была по плечу и в средствах возвратившемуся «во своя» артисту, но свои его «не прияша»: эту роль тоже и крайне неудачно сыграл А. М. Максимов, который из водевильного актера и любимого первого любовника превратился в неудачного трагика. [73] Почтенному артисту пришлось доедать объедки, оставшиеся от «многопестротной трапезы» Каратыгина, то есть сесть на старый, совершенно заигранный репертуар («Жизнь игрока», [74] «Параша Сибирячка»,

«Скопин-Шуйский»[75] и т. п.), – репертуар, который быстро вытеснялся новым бытовым репертуаром. Были уже сыграны «Бедная невеста», «Не в свои сани», «Бедность не порок», потом явилась пьеса из народного быта А. А. Потехина «Чужое добро впрок нейдет», в которой Мартынов проявил всю силу гениального таланта.[76] А тут появился граф Соллогуб со своим благородным чиновником,[77] крикнувшим со сцены на всю Россию, что пришла пора «искоренить зло с корнями». А потом чиновник Львова («Свет не без добрых людей») простонал «тяжела жизнь бедного чиновника».

Публике так понравились эти пьесы, что последнюю из них она просмотрела более двадцати пяти раз сряду. Затем явилась пьеса Чернышева «Не в деньгах счастье», затем «Гроза» Островского, в которых Мартынов окончательно убил все приемы старой каратыгинской школы,[78] и каратыгинскому репертуару отведено было место в воскресных спектаклях, в бенефисы инвалидам, даваемые военным кавалерам.

Конец сезона 1859 и сезон 1860 года не схо-

дила с афиши драма «Гроза». Ее пересмотрел положительно весь Петербург. Толку и говору о ней было очень много. Играли ее превосходно. Одно из представлений изволила посетить покойная императрица Мария Александровна, в сопровождении князя Петра Андреевича Вяземского. Перед началом спектакля директор театров А. И. Сабуров бегал, суетился, что-то приказывал и наконец спросил, какая пойдет пьеса? Ему отвечали: «Гроза» Островского.

– Пожалуйста, чтобы не глязная (он не выговаривал букву «р»), – важно заметил он режиссеру.

Пьеса уже прошла две цензуры: одну для печати – строгую, другую для представления на сцене – строжайшую. И под обоими цензурными микроскопами в ней ничего не найдено. Но режиссер, вследствие замечания начальства, посмотрел еще раз в свой микроскоп, увеличивающий в большее число раз, чем цензурные микроскопы, и вынул из пьесы три фразы и изменил одну сцену.

Мы с артисткой Е. М. Левкеевой (Кудряш и Варвара) удостоились получить после треть-

го акта через директора благодарность ее величества.

– Вот, любезный друг, – сказал он мне, – если бы у нас все такие пьесы были!..

– Есть еще пьеса Островского, только запрещена цензурой. Если бы вы изволили походатайствовать, может, она будет пущена.

– С удовольствием! – отвечал восторженно Андрей Иванович. – Принесите ее мне... Непременно... Завтра же...

На другой день я вырвал пьесу из кушелевского издания, смастерил кой-какую обложку, написал для памяти небольшую записку и понес к Андрею Ивановичу.

– Не в час пришли вы, сударь, – сказал мне дежурный капельдинер, когда я попросил о себе доложить.

– Почему?

– Строг сегодня. Перед вами только что кричал на одного... оперного... Коли угодно, я доложу, а только что... И мне, пожалуй, неприятность будет.

– Прошу доложить.

Скрипнула дверь, скрылись за нею фалды капельдинера. Миг! И я стою перед директо-

ром. Вчера восторженное, сияющее лицо приняло строгое выражение, до того строгое, что неприятно было смотреть на него. Вечно слезящиеся красноватые глаза его сузились, маленькие свинцового цвета зрачки быстро бежали.

– Я вам сказал, любезный друг, что прибавкам я положил предел?! Больше никто не получит прибавки. Довольно!

– Вы мне приказали, ваше превосходство...

– Ничего я вам не приказывал! Все говорят, что я приказал. Я все помню, что я приказывал.

– Я не за прибавкой пришел, ваше превосходительство, я принес вам пьесу.

– Это к Павлу Степановичу, а не ко мне. Я в комитете не член. Павел Степанович там член. Я не могу Павлу Степановичу приказать.

– Извините, ваше превосходительство! Вы вчера лично изволили мне приказать принести вам пьесу Островского, запрещенную цензурой.

– Зачем?

– Чтоб ходатайствовать о ее разрешении.

Андрей Иванович быстро приложил два пальца ко лбу.

– Теперь помню! Пожалуйста сюда.

Мы вошли в кабинет. Я доложил все, как следует. Андрей Иванович при мне собственноручно написал письмо по-французски шефу жандармов князю Долгорукову, приложил мою записку и пьесу и приказал отправить тотчас же. Толчок был дан очень сильный. Князь приказал пересмотреть пьесу.

Цензором драматических произведений в то время был И. А. Нордстрем, любезнейший и обязательнейший человек. Он пошел с А. Н. Островским на соглашение: в силу тогдашних цензурных условий, он предложил ему наказать порок в лице Подхалюзина. Пороки в то время обыкновенно преследовались квартальными, и вот в конце пьесы автор пригласил квартального наказать Подхалюзина. В последнее время, когда при новых судах квартальные потеряли свой престиж, из высокохудожественной комедии и квартального убрали. В первый раз пьеса дана была 16 января 1861 года, в бенефис актрисы Линской.

Я несколько отвлекся от последовательно-

го рассказа.

Я сказал, что после трех пьес нового автора на сцене сделался крутой поворот в другой репертуар. Этот поворот тотчас отразился и на провинции, где царила и переводная и доморощенная трагедия и драма.

В знаменитой Белой зале (в гостинице Барсова против Малого театра), в которую великим постом съезжались актеры со всего лица земли русской, антрепренеры стали искать между сценическими деятелями уже не Гамлета, а Любима Торцова, отстраняли Силина Сиротинку, а требовали Бородкина.

Вслед за последней пьесой Александр Николаевич сел за новую – «Не так живи, как хочется». Писал он ее долго, с большими перерывами. В то время я жил у него и следил за процессом его творчества. Писал он обыкновенно ночью – не знаю, как впоследствии. На полулисте бумаги было сначала небрежно написано что-то вроде конспекта. Привожу его в точности.

Божье крепко, а вражье легко.

Это зачеркнуто, а сверху написа-

но:

Не так живи, как хочется.

Лица:

Старик.

Старуха.

Чует мое сердце, недоброе оно чувствует.

Монастырь.

Настали дни страшные. Опомнись!

Широкая масленица.

Груша. Девушки.

Вася.

Ну, пияй! ты меня пиять хочешь.

Еремка – олицетворение дьявола.

Уж я ли твоему горю помогу,

Помогу, могу, могу.

Ночь.

Прорубь на реке. Удар колокола.

(Входит старик.)

(Балалайка.)

Сирота ты моя, сиротинушка!

Ты запой, сирота, с горя песенку.

Посетившему его артисту Корнилию Николаевичу Полтавцеву Александр Николаевич рассказал пространно, с мельчайшими подробностями содержание пьесы, но из-под пера вышло не то, что он рассказывал (по рассказу сюжет был гораздо шире), – может быть, оттого, что в это время он очень болел глазами, а пьесу нужно было окончить к бенефису.

Перед тем как сесть писать, Александр Николаевич обыкновенно долго ходил по комнате или раскладывал пасьянс, который он раскладывал и во время писания.

– Надо освежить голову, – говорил, – потруднее какой-нибудь пасьянс разложить.

Но если вообще он писал долго, то бывали пьесы, которые он справлял очень скоро. Например, «Воспитанницу» он написал, гостивши в Петербурге, в три недели; [79] «Василису Мелентьевну», тоже в Петербурге, в сорок дней. Процесс писания этой пьесы он называл «искушением от Гедеонова». Директор императорских театров С. А. Гедеонов передал написанную пьесу Александру Николаевичу, который, оставивши в неприкосновенности сюжет, написал собственную пьесу, не

воспользовавшись ни одной сценой, ни одним стихом из творения Гедеонова.

Лето 1854 года в политическом отношении было мрачное. Известия в Москве с театра войны получались в то время не с такой быстротой, как теперь, то есть известия официальные. «Столбовые» Английского клуба [80] знали все, и «дверем затворенным» рассуждали, не стесняясь, о военных неудачах, «Альминском побоище», [81] порицали главнокомандующего князя Меншикова. Рассуждения их урывками попадали в уши клубной прислуги, та переносила их в трактир, а трактир распространял их по всей Москве.

«Измена!» – заговорило захоlustье, – и пошло!

В Сыромятники пришло известие, что француз уже тронулся и идет к Бородину. В Рогожской стали говорить, что каких-то двух значительных англичан, скованных, провели ночью через Рогожскую заставу в Сибирь, что какой-то купец оделял сопровождавшую их команду калачами, чтоб не упустили. На улице стали попадаться раненые офицеры. Про-

шел слух о новом наборе, о государственном ополчении, которое поведет в бой «испытанный трудами бури боевой» старый генерал Ермолов. На сцене появилась патриотическая пьеса петербургского актера Григорьева «За веру, царя и отечество». Уличные шарманки и валы трактирных органов и оркестрионов заиграли песню Лейбрека, положенную на музыку капельмейстером петербургской русской оперы Константином Лядовым об англичанине, разорившем лайбу бедного чухонца. Песню эту с огромным успехом исполнял в то время на сцене Александрийского театра В. В. Самойлов.

Знаменитая кофейная Печкина продолжала еще существовать. Я в ней бывал. Постоянными посетителями ее были профессор Рудль, А. И. Дюбюк, П. М. Садовский и многие другие. Темой разговоров и споров была, разумеется, война. Пров Михайлович, патриот до мозга костей, спорил до слез.

– Побьют нас! – сказал Рамазанов.

Пров Михайлович вскочил, ударил кулаком по столу и с пафосом воскликнул:

– Побьют, но не одолеют.

– Золотыми литерами надо напечатать вашу фразу, – произнес торжественно П. А. Максин: – побьют, не одолеют. Превосходно сказано. Семен, дай мне рюмку водки и на закуску что-нибудь патриотическое, например малосольный огурец.

– Извольте видеть, Иван Федорович, – сказал Пров Михайлович мне после, – как татары-то рассуждают!..

– Какие татары?

– А Рамазанов-то! Ведь он татарин, хоть и санкт-петербургский, а все-таки татарин... Рамазан!..

Московские купцы, посещавшие кофейную, все группировались около Прова Михайловича и слушали его страстные речи.

Петр Алексеевич Максин был отставной актер и бывал в кофейной Печкина каждый день, с утра до ночи. Он служил предметом шуток и насмешек, которые вызывал сам. Например, входит он в залу.

– Откуда, Петр Алексеевич?

– С печальной церемонии: был на погребении.

– У кого?

– Признаться сказать, в настоящее время я не знаю «Я был неожиданно приглашен к столу знакомым мне отцом дьяконом. Сидел рядом с прекраснейшим и ученейшим протоиереем от Сергия в Рогожской и получил от него совет, насчет моего ревматизма. Относительно свежей икры могу сказать, что она нарочно была выписана из Нижнего. Необыкновенная! Поставь пирамиду и подай рюмку водки! Эх, Петя, сразил тебя рижский бальзам! – воскликнул он, потерявши равновесие и падая на диван.

– Бальзам принадлежит к числу сильнодействующих средств, Петр Алексеевич. Неужели вы этого не знали? – сказал Карл Францевич Рулье.

– Не знал, потому что его всегда отпускают из ренсковых погребков без рецепта, – отвечал Максин, тотчас обращаясь к Бабаеву, очень талантливому ученику Дюбюка, но тоже человеку, от хмеля невоздержанному, и весьма серьезно и торжественно произнес:

– Бабков, брось ты свою пьяную компанию, перейди в наш благородный круг.

Я уже не застал кофейную в лучшее ее вре-

мя, когда она была центром представителей литературы, сцены и других искусств. Она в то время падала, и ее посещали немногие.

В это время репертуар моих рассказов значительно расширился. Александр Николаевич поощрял меня и двигал вперед. Я стал постоянным его спутником всюду, куда он ни выезжал. Рассказы мои сделались известными в Москве: о них заговорили. Пров Михайлович, сам превосходный рассказчик, которому я не достоин был разрешить ремень сапога, относился ко мне с величайшею нежностью и вывозил меня, как он выражался, «напоказ».

– Мы завтра, Иван Федорович, будем вас показывать у Боткина.

Дом Боткиных принадлежал к самым образованным и интеллигентным купеческим домам в Москве. В нем сосредоточивались представители всех родов художеств, искусства и литературы, а по радушию и приветливости хозяев ему не было равных. Всякий чувствовал себя как бы в своем доме. Сергей Петрович Боткин, нежный, ласковый, молоденький студент, собирался в то время ехать врачом

в Севастополь. Один из братьев Боткиных, Иван Петрович, любил Садовского до обожания, и мы с Провом Михайловичем бывали у него каждую субботу. Александр Николаевич тоже бывал часто. Добрейшее существо был этот Иван Петрович, а с покойным Павлом Петровичем мы были связаны узами самой тесной и крепкой дружбы. Этот, хотя и не выделялся, как братья его, какими-либо талантами, но бог дал ему один талант – голубиную чистоту. До сих пор я питаю к этому дому мою сердечную привязанность и сохранил о нем лучшие мои воспоминания.

Потом мы бывали у Алексея Александровича Корзинкина. Жил он в своем доме на Покровском бульваре. У него собирались музыкальные художники и составлялись квартеты. Сам хозяин был артистическая натура, играл на скрипке и был другом Александра Николаевича по рыбной ловле (Александр Николаевич был в то время страстный рыболов и знал все подмосковные речки и ручейки). М. С. Щепкин бывал на корзинкинских собраниях каждый раз, рассказывал малороссийские анекдоты и читал стихи.

Бывали мы также у С. В. Перлова, у которого был свой оркестр, составленный из его приказчиков и мальчиков. Оркестр этот на тех же началах существует и поныне. Его поддерживает сын покойного Перлова, Василий Семенович.

Бывали на скромных интимных собраниях у К. Т. Солдатенкова, которые посещались художниками и профессорами Московского университета.

Бывали на вечерних беседах у А. И. Хлудова, составителя редчайшей в России староверческой библиотеки.

И много в то время было купеческих домов, двери которых широко отворялись для принятия с почетом всякой умственной и художественной силы.

Бывали и такие дома, которые «для сатирического ума» представляли обильный материал для наблюдения. Нарисую один.

Был богатый купец Х. Большой дом у него был в одном из московских захолуствий, старинный, барский, с колоннами, принадлежавший в конце прошлого столетия какому-то генерал-аншефу. Жил он по старым оте-

ческим преданиям и капитал имел «темный», то есть никто не мог дать приблизительное предположение, какой у него капитал.

«Несчитанный, говорили, весь в сериях. И сам он, пожалуй, своего капиталу не знает».

Помещался он с сыном внизу, а бесчисленный женский пол ютился в верхнем этаже окнами в огромный заросший сад. Никто из обывателей живущего там женского люда не видал. Изредка отворятся вечно запертые ворота, вывезет толстый жеребец крытую пролетку, в кузов которой, как в узкий корсет, втиснуто необыкновенно толстое, почти бесформенное существо в черном платье, с покрытою черным платком головой. И если бы не виднеющийся из-под платка кусочек носа и часть отвислого подбородка, можно было подумать, что вывезли какую-нибудь кладь. Это выехала *сама* по направлению к Рогожскому кладбищу. Сам старик никогда свою единственную лошадь не беспокоил: ходил пешком или приискивал такого рваного извозчика, на которого садятся только из крайней необходимости. Сын известен был в окрестке как сын богатейшего купца. Он нигде

не учился, ничего не делал, подавливал иногда в окрестных садах синиц и чижей да удил в Яузе рыбу. Вздумал было раз прочесть «Юрия Милославского», [82] – семинарист один, товарищ по ловле синиц, посоветовал, – да при чтении очень сон одолевал, бросил: «Опять же, коли бы все настоящее было, а то все выдумки». По мере того как родитель приближался к оставлению «мирского мятежа и временной сея жизни», кругозор Ивана Гавриловича расширился: уже к его услугам стоял у трактира лихач-извозчик, уже он сидел по вечерам «под машиной» московского трактира, выслушивая мотив из «Роберта», [83] «Аскольдовой могилы», [84] «Вот на пути село большое» [85] и других опер; уже он познал всю прелесть увеселительных притонов Дербеневки, Козихи и Доброй Слободки; уже он всем сердцем прилепился к цыганской пляске, к остроумию торбаниста, – одним словом, сделался вполне готовым по получении отцовского наследия мгновенно распуститься во всю ширь своей натуры. Сын он был почитительный и любил отца; его только беспокоила люстриновая сибирка [86] с крючками

да стесняли сапоги бутылками, обстановка, костюм, без которого, по мнению родителя, нельзя было достигнуть пути в царство небесное. Но вот в одну ночь раздаётся в доме плач и рыдание: старик скончался; жития его было шестьдесят девять лет три месяца и одиннадцать дней. Тучный прах его заключили в огромную дубовую колоду «ржевского дела», снесли на кладбище; нищую братию накормили и оделили деньгами. Шесть недель раздавались в доме заунывное женское пение и чтение псалтыря. Затем «время плачу и рыданию преста»: старухи удалились на два года в один из керженских скитов[87] и по возвращении оттуда не нашли в ломе того благочестия, в каком они его оставили; даже выветрился тот специфический запах – смесь ладана, воска, деревянного масла, – который составлял его необходимую принадлежность. В зале, где под гнусавое пение начётчиц вызывались из груди вздохи, обращенные к древнего письма иконе, и «отбрасывались» по лестовке[88] земные поклоны, ставились по вечерам ломберные столы,[89] где пели демественные большие стихи[90] из праздников и

триодей[91] «драгия вещи со всяким благочинием», – раздавалась ухарская песня певца Бантышева:

*Ах, шли наши ребята
Из Нова-города.*

Фимиам кадильный заменила «злосмрадная и богоненавистная воня, еже от травы выспрь прозябающей и наречется тая трава табака».

Иван Гаврилович уже оставил, по его словам, «невежество», то есть снял прежний костюм, хотя по его говору (оттеда, покеда) он совсем подходил к нему, – и оделся по-модному, завел коляску, позировать в которой учил его один из танцовщиков московского театра. С этим танцовщиком он никогда не разлучался. Кроме способности пить вино, какое угодно и в какое угодно время, быть готовым в «отъезд» (так назывались загородные кутежи) в Царицыно, в Марьину рощу и т. п. по первому требованию, он знал несколько фраз по-французски, хотя не мог поддерживать разговор, но мог сказать несколько выражений с большой развязностью. Этого было со-

вершено достаточно, чтобы пригласить француженку выпить стакан шампанского. К француженкам Иван Гаврилович чувствовал большое влечение за их, как он выражался, «нежность» и способность не мигнувши глазом осадить бутылку шампанского.

– Мадам, поставлено! – обращался он к ней, указывая на стакан. – Алеша, переведи, чтобы кушала.

– *Madam, prenez*, [92] – переводил танцовщик.

– *Ah, merci, monsieur!* [93] – отвечала француженка, выпивая стакан залпом.

– Люблю! – восклицал Иван Гаврилович, поглаживая ее руку.

– *Que se qu'il dit?* [94] – быстро справлялась француженка.

– *J'aime*, [95] – переводил танцовщик.

– *Et moi aussi!* [96] – весело подпрыгнув, воскликнула француженка.

– Это насчет чего? – спрашивал Иван Гаврилович.

Переводчик не понял фразы и отвечал:

– Да уж хорошо! Помалкивай!

– Может, деньгами хочет попользоваться?

Так можно немножко... три синеньких, ежели...

Когда же француженка начинала болтать, переводчик не терялся, а на вопрос Ивана Гавриловича: «Насчет чего говорит?» – отвечал без запинки:

– Шампанского еще просит.

– Вели подавать! – разрешал Иван Гаврилович.

Долго жил Иван Гаврилович в «этом направлении»: бессонные ночи, постоянные «засидки» и «отъезды» стали сокрушать его кованую натуру. Нечистая сила, так называемые чертики уже являлись ему в виде шмелей, жуков, раков; наконец в самый разгар Нижегородской ярмарки его в одном веселом притоне в Кунавине мгновенно обвил зеленый змий и обдержал его три дня.

– Веришь ли ты, – рассказывал он после, – змий, вот как на паперти, на «Страшном суде» нарисован, – зеленый братец ты мой!

Не с того ли времени идет поговорка: «Напиться до зеленого змия»?

Зеленый змий сильно подействовал на Ивана Гавриловича. Он одумался, или, по его

выражению, «всем пренебрег», и, вспоминая минувшие дни, говорил:

– Ежели перелить по бутылкам все, что я выпил, можно бы погребок открыть и торговать в нем года три.

Старуха мать предлагала ему жениться и невесту нашла с «большими деньгами», но Иван Гаврилович рассудил так:

– Ежели, матушка, жениться мне из своего общества, так уж я с малых лет не на тот фазон себя определил; а ежели Матильду какую (Матильдами он называл женщин некупеческого круга) в наш дом пустить, так она порядков ваших не выдержит – уйдет. Лучше я поеду – посмотрю, как в чужих землях люди живут.

И, прихвативши еврейчика – студента в качестве переводчика, уехал за границу. Был в Египте, воздымался на пирамиды, восходил на Везувий, был в Риме, «кружился» (по его выражению) два месяца в Париже, «все там произошел», даже «полюбопытствовал, как одного разбойника казнили», и вернулся в Москву в широкой соломенной шляпе, красном галстуке, клетчатой жакетке и в необык-

новенно узеньких брюках. Засмеялось захоlustье, полетели во франта колкости и остроты от фабричных. Прошел даже слух, что его вызывал обер-полицеймейстер Цынский и внушал ему, чтобы он не страмил своего роду и одевался бы как надо, а он не токма что не послушался, а напротив того – стал по Сокольникам верхом ездить. По смерти матери Ивану Гавриловичу окончательно никто не мешал жить, как его душе угодно. Все ютившиеся около самой в верхнем этаже старинного дома старицы, начетчицы и читалки отрясли прах от ног и разошлись питаться около других благодетелей. Да он и сам остепенился; ему опротивела дикая жизнь. И хотя по вечерам у него и собирались прежние бражники, но уже угощение бывало «на благородный манер». За ужином явилось мени, которое подавал гостям повар в белой куртке и колпаке. Всякий гость знал, что за ужином будет «шиврель с дикой козы», «судак овамблям» и т. п. Сам хозяин за стол не садился, а важно, в коротеньком пиджаке и белом жилете, расхаживал по столовой и распоряжался.

– Подай, братец, – обращался он к лакею, –

на тот конец еще сексу. Ты видишь, что там бутылку разверстали, ну. и не задерживай.

Или:

– Иван Петров, обнеси, братец, шато-лафитом. Опосля говядины завсегда шато-лафит требуется.

В музыке Иван Гаврилович ничего не смыслил, но в доме у него иногда бывали квартеты, которые ему устраивал известный в то время в Москве скрипач И. К. Фришман и капельмейстер Сакс. Раз участники квартета сели ужинать за отдельным столом в гостиной. Во время ужина входит в столовую лакей и очень развязно говорит:

– Иван Гаврилович! Музыканты шампанского требуют: прикажете подавать?

Иван Гаврилович вскочил:

– Да разве это музыканты?! Что ты, одурел, что ли?... По свадьбам, что ли, они играют?... Дурак! На поминках тебе служить, а не в таких домах.

Местный полицеймейстер был другом Ивана Гавриловича, катался с ним часто в коляске и присутствовал у него на всех пирушках. Иван Гаврилович относился к нему с по-

чтительной нежностью:

– Полковник, ты бы стаканчик выкушал.

Или:

– Господин полковник, вам за столом первое место, как вы есть начальник всей нашей округности. Пожалуйста!

Штат-физик Гульковский был постоянным его доктором и прописывал ему целительные порошки, им самим изобретенные.

– Порошки эти целительные, – говорил он, – я их и в практике употребляю, и семейству своему даю, и сам принимаю, когда мне скучно, потому – целительные.

Из артистов у него бывали Садовский и Живокини. Уважение им было великое.

– Верите, Пров Михайлович, я плакал, – говорил Иван Гаврилович по поводу Любима Торцова. – Ей-богу, плакал! Как подумал я, что со всяким купцом это может случиться... страсть! Много у нас по городу их таких ходит, – ну, подашь ему, а чтобы это жалеть... А вас я пожалел именно, говорю. Думаю: господи, сам я этому подвержен был, ну, вдруг! Верьте богу, страшно стало. Дом у меня теперь пустой, один в нем существую, как

перст. И чудится мне, что я уж и на паперти стою и руку протягиваю!.. Спасибо, голубчик! Многие, которые из наших, может, почувствуются. Я теперь, брат, ничего не пью, будет. Все вышил, что мне положено!.. Думаю так, – богадельню открыть... Которые теперича старики в Москве... много их... пущай греются. Вот именно мне эти ваши слова: «Как я жил, какие я дела выделял!» Ну, честное мое слово – слезы у меня пошли.

А на богатого купца «из русских», Ивана Васильевича Н., Садовский в роли Тита Титыча так подействовал:

– Ну, Пров Михайлович, такое ты мне, московскому первой гильдии купцу Ивану Васильевичу Н-у уважение сделал, что в ноги я тебе должен кланяться. Как вышел ты, я так и ахнул! Да и говорю жене – увидишь, спроси ее, – смотри, я говорю: словно бы это я!.. Борода только у тебя покороче была. Ну, все как есть, вот когда я пьяный. Это, говорю, на меня критика. Даже стыдно стало. Ну, само собой, пьяный, и ударишь, кто под руку подвернется, и покричишь... Вот наемни в Московском трактире полового Гаврилу оттаскал, – две

красненьких отдал. Да ты что! Сижу в ложе-то да кругом и озираюсь: не смотрят ли, думаю, на меня. Ей-богу!.. А уж как заговорил ты про тарантас, я так и покатился! У меня тоже у Макарья случай с тарантасом был...

И он рассказал, как он с Нижегородской ярмарки, возвращаясь в Москву, три дня не вылезал из тарантаса.

В доме Ивана Гаврилыча мы бывали часто. Фигура Ивана Гаврилыча была представительная: высокий, стройный, одетый безукоризненно; лицо важное, серые навывкате глаза, тщательно расчесанная на обе стороны борода... Ну, просто английский лорд, член парламента, когда молчит, а заговорит – так и отдает московским ткачом: «оттеда», «покеда», «коли ежели я, значит», «ежели я, например, теперича, так будем говорить», и прочее. Я один раз слышал, как он рассказывал о своем восхождении на пирамиду Хеопса.

– Три тысячи годов строили, пойми из этого!

– Много выше Ивана Великого? – спросил один собеседник.

– Какие твои пустые слова! Не то, что Иван

Великий, а может... даже удивительно! Жара, братец ты мой!.. Ну, сейчас, этакие палки большие, чтобы, значит, ловчей было идти... Ну, Египет, братец ты мой, сам понимаешь! Только бедуин один подошел к нам, черной этакой; ежели в лесу где у нас такой попадет-ся – в ногах у него навалешься: пусти душу на покаяние. И глаза такие – сейчас зарежет... Подошел к нам, а с нами бутылочки три портеру было, на случай в Александрии взяли... Опять же, надо сказать, агличане эти там, как векши, по камням бегают...

И все в том же роде. Никаких впечатлений о пирамидах передать он не мог.

По субботам часть нашего кружка собиралась у Константина Александровича Булгакова, сына московского почт-директора, внука знаменитого Якова Ивановича Булгакова, екатерининского посла, который был заключен в Константинополе в Семибашенный замок. Константин Александрович был отставной гвардеец. В Петербурге ходили чуть не легенды о его шалостях, на которые тогдашнее начальство, даже сам великий князь Михаил Павлович, смотрели снисходительно. Я

не буду о них рассказывать здесь, не буду поминать грехи его юности и неведения. Большой телом (он не мог ходить и передвигался по комнате в кресле на колесах), но бодрый и здоровый духом, отлично образованный, прекрасный рисовальщик, музыкант, без голосу обаятельно передававший суть страстных романсов Глинки, он заставлял любить и жалеть себя. Любить – за необыкновенно доброе сердце, жалеть – за растрату богом данных ему даров. В Петербурге по художественной части он принадлежал к обществу Брюллова, Глинки, Кукольника и Яненко, или, как он выражался, к обществу «невоздержных».

Он жил вместе со своим отцом в почтамте. Стены небольшого кабинета его были сплошь увешаны портретами бывших и настоящих его друзей; небольшое пианино, диван, стол и несколько стульев. Садовский посещал его чуть не каждый день, а Максин иногда пребывал у него от зари и до зари: придет, справится о здоровье и уйдет; потом опять появится, опять уйдет, – и так целый день.

Субботние посетители назывались «субботниками». Для них был заведен альбом, в

котором они при поступлении в субботники собственноручно вписывали свои фамилии (у меня один альбом сохранился). Князь Петр Андреевич Вяземский значился в числе субботников. Проездом через Москву он бывал у Булгакова. М. Н. Лонгинов,[97] остроумный Борис Алмазов, Рамазанов и Дюбюк были постоянными субботниками и оставили в альбоме много стихов. Каждый из субботников непременно должен был что-нибудь написать в альбом. Вечера были веселые. Живой, остроумный разговор, музыка, пение и застольные беседы, часто до утра. Нередко Михаил Семеныч Щепкин являлся сюда что-нибудь прочесть.

Большим утешением для общества служил Максин. Иногда он, среди оживленного разговора, вдруг задавал вопрос, совершенно не вытекающий из темы беседы. Например:

– Карл Францевич Рулье вчера в кофейной говорил, какой-то Фейербах написал замечательное сочинение, сколько я мог понять, против религий...

– Ну, а тебе что за дело? – спокойно заметил Булгаков.

– Странно, как цензура могла пропустить, – важно отвечал Максин.

– А вас религия, Петр Алексеич, интересует?

– И очень даже!

Прерванный разговор продолжался снова.

Во время музыки или чтения Максин становился в важную позу, делал серьезную мину и являл из себя вид знатока, прерывая иногда чтение замечанием.

Один раз собралось нас несколько человек у Булгакова в воскресенье утром. В этот день отец его был именинником. Мардарий (слуга Булгакова) докладывает, что у Александра Яковлевича сидит граф Закревский.

– А мне, черт его возьми! – отвечал Булгаков. – Не ко мне он, старый бз..., приехал.

Только что он произнес последнюю фразу, в дверях показался граф. Мы все вскочили, Максин прилип к стене, опустил руки по швам, вперил глаза в графа и замер... замер, как замирает воин во фронте, когда раздается команда '«смирно»'.

Граф, едва заметным движением головы, ответил на наши почтительные поклоны.

– Здравствуйте, ваше сиятельство, – встретил его Булгаков, слегка двинувшись в кресле.

– Сиди, сиди, не беспокойся, – предупредил его граф, опуская свое тучное тело на подвинутый ему Мардарием стул.

– А ты все болен? – обратился граф.

– Напротив: очень здоров! – весело ответил Булгаков.

Визит продолжался не более трех минут. Граф посоветовал хозяину вести себя осторожно, слушаться наставления врачей – и встал. Булгаков снова ерзнул колесами кресел; граф опять попросил его не беспокоиться – и вышел.

– Однако я в первый раз имел счастье так близко видеть его сиятельство господина московского военного генерал-губернатора, – произнес Максин по уходе графа.

– Что же, тебе лучше стало? – засмеялся Булгаков.

– Не лучше, а все-таки... высшее правительственное лицо в государстве... и с бланками.

– С какими бланками?

– Бланки имеет. Один только генерал-губернатор во всей России их имеет.

– Зачем ему бланки? – загорячился Булгаков.

– А вот зачем, – внушительно и авторитетно отвечал Максин, – по этим бланкам он может в Сибирь сослать.

– Так он тебя и без бланков сошлет. Скажет: Петр Алексеевич, надоел ты всем в Москве, – ступай ко всем чертям! Ты и пойдешь...

– Ну, не говорите!

– Да и у Иверской есть такое заведение, так там без всяких бланков сошлют.

– Верно, сошлют! Но там с провололочкой. Судить будут, а этот подмахнет бланк – завтра ты уж на этапе. Мне один знакомый чиновник из управы благочиния сказывал, что недавно такой случай был...

Кончался вечер, сонный лакей Мардарий провожал гостей, и в «Субботник» заносятся следующие стихи (Б. Н. Алмазова):

*У Щученко в доме,
В час заката звезд,
В память по Содоме*

Был великий съезд.

*Трезвый и степенный
Собирался люд.
Был тут Келль почтенный,
Максин и Шервуд,*

*Петя Безобразов,
И толстяк Борис,
И Борис Алмазов —
Все перепились.*

*Лонгинов Михайло
Капли не брал в рот,
Видно, он...
Потихоньку пьет...*

*А Алмазов Борька
И Садовский Пров
Водки самой горькой
Выпили полштоф.*

*Костя ключ от шкафа
Часто доставал
И изделия Яффа
Пил и одобрял,*

Максин от коньяку

*Вовсе не был пьян, —
Спиртового лаку
Требовал стакан...*

*Михаил Ефремыч,
Русский соловей,
Врачевал их немочь
Песенкой своей.*

*И под звуки арий,
Отягчен вином,
Между тем Мардарий
Спал глубоким сном.*

Очень жаль, что стихи из «Субботника», как имеющие частный характер, не могут быть напечатаны, а есть прекрасные.

К осени Александр Николаевич окончил новую пьесу «Не так живи, как хочется» и прочел ее в первый раз Кружку у себя дома. Этот вечер останется мне памятен до конца моих дней. После чтения Пров Михайлович мне сказал, что получено из Петербурга разрешение дебютировать мне в его бенефис в пьесе М. Н. Владыкина «Образованность».[98] Не только поступление на сцену, но и дебюты были тогда обставлены большими затрудне-

ниями, и если мне позволили дебютировать, то только во внимание к просьбе Прова Михайловича.

Я думаю, ни один дебютант не в состоянии отчетливо передать тех чувств, которые овладевают им при первом выходе на сцену. Какой-то особенный страх, рябит в глазах, руки делаются совершенно лишними, лучше когда бы их на этот раз не было. Все это я испытал в полной мере, несмотря на то, что роль знал, как «Отче наш», и готовил ее под руководством всего нашего Кружка.

– Что это у вас, милый человек, лихорадка, что ли? – подошла ко мне Софья Павловна Акимова, игравшая в пьесе мою мать. – Смелее, голубчик!

– Жутко, дружок! У нас с тобой тоже поджилки тряслись, – заметил С. В. Васильев. – С богом!

Александр Николаевич в самый момент выхода пожал мне руку и пожелал счастья.

Я на сцене. Действительно затряслись поджилки, задрожали губы... Трудно передать то ощущение, которое я испытал в этот вечер. Как юница, трепетно стоявшая под венцом,

не может в день своей золотой свадьбы передать подробности совершившегося над ней торжественного акта, а надо мной тоже совершился торжественный акт – я вступил в новую жизнь, неведомую мне сферу деятельности, о которой я никогда не мечтал и к которой не был подготовлен.

К дебютантам в то время публика относилась очень благосклонно; благосклонно отнеслась она и ко мне, вызвавши в продолжение пьесы пять раз. За кулисами меня приветствовали, но я чувствовал вполне свое ничтожество.

– Окунулся, дружок. Теперь плыви смело, – сказал мне С. В. Васильев.

– Поплывем, бог милостив! – сердечно улыбаясь, поддакнул Пров Михайлович.

Газетных отзывов дебютантам тогда нечего было бояться, да и газета-то была одна, которая почти не занималась театром, хоть и имела для экстренных отзывов репортера, князя Назарова. Князь был человек образованный и чистоплотный, не похожий на большинство современных репортеров, часто мешающих сценическим деятелям спокойно-

му отношению к их обязанностям. Бояться тогда можно было строгих приговоров самих артистов.

В течение моей долгой службы в театре я неоднократно был свидетелем слез, истерик и нервного раздражения у своих товарок и товарищей, вызванных площадными ругательствами газетных репортеров, не имеющих за собою ни нравственного, ни образовательного ценза. Что ежели бы собрать воедино все то сквернословие, которому подвергался русский театр в продолжение четверти века в разных листках и газетах! Богатейший материал для будущей истории театра. Одно время отзывы о театре и его деятелях в одной газете доходили до бешенства и исступления ума. Начальника репертуара и жену его печатно называли взяточниками; актрисам придавали эпитеты «нюня, плакса, горничная»; про актеров и говорить нечего. На некоторых из них наложена была печать проклятия; других просто оскорбляли кучерской бранью. Наконец, первый русский театр был лишен своего почетного наименования «Императорский Александровский театр». Его ста-

ли называть печатно «казенным театром», или «Александринкой». Давай нам частные театры. Сначала потихоньку, под клубными флагами, завелись эти театры, а потом последовало разрешение строить частные театры. Много недоучившихся мальчиков побросалось со школьных скамеек на зов клубной Мельпомены; много милых девиц вскочили на театральные подмостки...[99]

Появились лекции по драматическому искусству, руководства для изучения драматического искусства. Первое руководство предложил режиссер русского драматического театра Воронов – книжечку в два вершка длины и два миллиметра толщины. За ним последовали и другие, тоже руководства. Наконец, парикмахер от Пяти Углов обнародовал для актеров правила гримировки:

*Даже ты, Варсонофий Петров,
Окол вывески «Делают гробы»
[100]
Изготовил железные скобы
И другие снаряды гробов.[101]*

И любопытно: отлично образованный, многоязычный, даровитый романист и пуб-

лицист, драматический писатель, театраль-
ный критик – чего еще? Может ли он похва-
статься хоть одним учеником (он имел свои
драматические классы в Петербурге и
Москве), про которых можно было бы ска-
зать: «Вот актер и актриса – ученики Боборы-
кина[102]» (не в отрицательном смысле)? Где
ученики Воронова? (Он учил в театральном
училище.) Я уже не говорю о тех учителях и
руководителях, которые, порицая актера в ро-
ли Чацкого «на казенной сцене», сами играют
ее в клубе и с лакейскими манерами, даже во
фраке, в котором не вышел бы служитель к
барскому столу, слуга Чацкого. Ведь эти учи-
тели существуют двадцать пять лет, – могли
же они приготовить хоть одного, если не вы-
дающегося, то хоть заметного деятеля драма-
тического искусства.

Теперь образовались в Петербурге Драма-
тическое общество,[103] Общество любителей
искусства. Давай им бог успеха!

«Новое время», 5, 12 февраля 1884 г.

Белая зала

В сороковых и пятидесятых годах текущего столетия сборным пунктом приезжавших в Москву провинциальных актеров была так называвшаяся Белая зала, в гостинице купца Барсова, на площади Большого театра. Собирались в ней актеры обыкновенно в течение великого поста, получали здесь ангажементы [104] и расходились до следующего поста по всему лицу Российского государства. Редкий актер того времени, вступая на сцену, не переступал порога Белой залы.

Вот что мы помним, что мы видели в этой Белой зале.

На последних днях первой недели великого поста входит в залу солидный, высокий мужчина, лет шестидесяти, в черном, наглухо застегнутом сюртуке. Это «благородный отец» [105] из Ярославля.

Половой Гаврила, страстный любитель театра и преданнейший слуга всех актеров, с особенною радостью встречает приезжего гостя.

— Давно изволили пожаловать в нашу сто-

лицу?

– Вчера, братец, утром. Был у Иверской. А сегодня к своему угоднику и покровителю зашел. Обласкал, заплакал.

– Кто же это, Тимофей Николаевич?

– Михаил Семенович... Кто же еще.[106]

– Ах, а я и недогекнул... По зиме как-то уху у нас кушали, с каким-то профессором. Чудесный старик... добрый, обходительный... Я, говорит, сам крепостной был, понимаю ваше положение.

– После Павла Степановича[107] два угодника у нас осталось: Михаил Семенович да Пров Михайлович.[108] И к нему сейчас заходил: прилег, говорят, после обеда отдыхает. А у Сергея Васильевича[109] вчера был: сидит, на гитаре играет. Всех обошел... Живокини велел сегодня в Купеческий клуб приходить.

– А где изволили остановиться?

– В Челышах, братец, где же больше-то...

– На что лучше, самое центральное место.

«Челышевские номера» на площади Большого театра были обыкновенным пристанищем заезжих в Москву провинциальных артистов. Удушливый, спертый воздух, полный

микробов, видимых невооруженным глазом, отсутствие каких-либо удобств, грязные неосвещенные коридоры, оборванная прислуга составляли специальность этого актерского приюта.

– А что, уж подъезжают наши? Слет еще не начинался?

– Не предвидится, вы первые. Чем прикажете просить?

– Дай мне, по обыкновению, графинчик доброго русского, белого, простого, очищенного вина да пирог в гривенник.

– Слушаю-с.

Вот вошли еще два артиста – один в клетчатом коротеньком пиджаке, в красном галстуке; другой – в полуфраке, с гладкими светлыми пуговицами, с тщательно завитыми волосами. Первый – комик из Тулы, второй – первый любовник из Курска. Комик начал с водки, любовник сел на коньяк.

На третьей неделе Белая зала была уже полна приезжими провинциальными сценическими деятелями. Съехались и антрепренеры: Борис Климыч из Орла, Смальков из Нижнего, Васька Смирнов из Ярославля, Григо-

рьев из Тамбова, Херувимов из Екатеринбурга, Червончик из Тулы, директор симбирского театра – барин, проживший солидное состояние на любви к театру, Зверев из Севастополя и многие другие. Съехались они в Москву обновлять свои труппы, заказывать костюмы, парики и т. п. Знаменитые того времени актеры все налицо: Милославский из Казани, Рыбаков из Харькова, Челикин из Тамбова, Медынцев из Вологды, Яковлев из Ростова-на-Дону, Кирилл Ермаков и другие. Юркие комики перебегают от стола к столу, любовники ведут беседу о московских портных, благородные отцы по своему солидному положению в репертуаре состоят при трагиках.

Вот один комик, сидевший за отдельным столом с директором симбирского театра, вдруг просиял – это он получил ангажемент, или на театральном жаргоне «кончил». (Получить ангажемент – значит «кончить». Я кончил в Казань, я кончил в Рыбинск и т. п.)

– В Симбирск? – спрашивает его один из товарищей.

– В Симбирск.

– Город хороший. Я там два сезона играл.

– Главное – дворянский, – поддакивает комик. – Настрадался уж я в Ярославле-то у Васьки Смирнова. Ты знаешь, он меня, с моим-то ростом, заставил раз Ляпунова играть.

– Что же, играл?

– Нет, жандармский полковник заступился. «Я, говорит, не позволю тебе безобразничать». А Юстиниана в «Велизарии» играл и вместо сандалий резиновые галоши надевал. То есть такой срам был – смерть! А ты посмотри, что это за антрепренер – барин, в Шевалдышевой гостинице остановился.

– А сколько?

– Семьдесят пять, два полубенефиса, парики его, две пары лаковых сапог, шляпа...

– Чего ж тебе еще!

– Ах, как я доволен! Гаврила, давай рябиновки. Губернатор, говорят, отличный человек; губернаторша почти и из театра не выходит; откупщик тоже барин, на благородных спектаклях Фамусова играет, за бенефис двадцать пять дает... То есть как я доволен!..

Трагик Хрисанф[110] пререкается с одним из антрепренеров.

– Ну, какой ты антрепренер? Что ты пони-

маешь в великом искусстве? Ты буфет в театре держал! Ну что ты смыслишь?

Орловский антрепренер в тоске: он не может подыскать актера, который бы сыграл Любима Торцова в комедии «Бедность не порок», только что в то время появившейся в репертуаре.

– В Коренной ярманке[111] купец собирается со всего света, пьеса нравоучительная, купеческие пороки выведены в совершенстве... Хоть сам играй!

Ввязывается Смальков.

– Я в Нижнем ставил. Некрасов играл чудесно!

– Какой же он Любим Торцов? Он маленький, его от земли не видать!

– Толщину надевал, отлично играл.

– Я тоже в Рыбинске ставил, – вмешивается Смирнов.

– Это у себя в курятнике-то? – возражает Хрисанф. – Ты бы молчал лучше. Знаешь ли ты, что играть Любима Торцова...

– Что же в нем особенного? Обыкновенный пьяный купец...

– Особенного? Я с тобой и разговаривать не

хочу! Да я с тебя полтора ста Ляпуновых[112] за этого пьяного купца не возьму. Ведь эту роль должен трагик играть, а он мальчишку нарядил. Понятие!

– У нас на юге эту пьесу не поймут, у нас в ходу больше помпезные пьесы, – вступает в разговор содержатель севавтопольского театра.

– Подите вы с своим югом-то! У вас Гамлет в сцене с матерью с папироской вышел!

– Пьяный был, – заступается содержатель.

– А король Лир звезды с кавалерийского вальтрапа[113] на себя надевает – тоже пьяный? Играйте вы там своих «Багдадских пирожников», «Принцев с хохлом, горбом и бельмом». Настоящий репертуар вам не по плечу. Да и многих он врасплох застал. Теперь не то! Теперь «Шире дорогу – Любим Торцов идет!» Налей мне, Петр Михайлович, рябиновки. Разозлил он меня! Вот ты, – обращаясь к молодому актеру, – первогодочек, только что начинаешь нашу скитальческую жизнь, вот ты знай, у кого ты будешь в лапах. Они все здесь, эти губители талантов. Закались заранее. Да что у тебя – страсть к театру

или тебе жрать нечего?

– Страсть, Хрисанф Николаевич.

– Ну, коли страсть – выдержишь, а если из-за куска хлеба идешь – пропадешь. Кончил куда-нибудь?

– В Иркутск.

– Бывал там. Ты как приедешь, сходи к соборному протодьякону, отцу Иоанну – не знаю, жив ли он, – великий мне друг и приятель, превосходно оду «Бог»[114] читал. Ты в нем найдешь второго отца и всю жизнь меня благодарить будешь. Явись к нему и скажи: от Хрисанфа – и довольно! Эх, Петр Михайлович! Тугие времена для театра приходят. Материки актеры стареют и умирают, столица их тоже подбирает, репертуар идет новый, молодые люди не занимаются, да не от кого и поучиться-то. Верь мне, скоро жид полезет на сцену. Вон сидит с Васькой Смирновым – это жид из аптеки, у аптекаря составлять мази учился, а теперь предстанет перед рыбинской публикой. Талантливый шельма! Вчера Васька в Челышах его экзаменовал – по-собачьи он ему лаял, ворону представлял, две арии на губах просвистел... Не знаю, как говорить бу-

дет, а эти жидовские штуки делает чудесно! Купцы в Рыбинске затаскают его по трактирам. В Ирбитской[115] такому тоже молодцу один шуйский купец шубу соболью подарил. Сидит, бывало, компания, и он с ними. Пьют. Придет ему фантазия: «Ты бы, Абрамчик, полаял маленько, видишь, компания скучать начинает». Тот и начнет, ну, и долаялся до шубы. Раз спросили его, как это ему бог такой талант открыл? В остроге, говорит. Сидел он в остроге в секретной камере. От скуки, говорит, стал по вечерам прислушиваться к собачьему лаю, стал подражать и достиг в этом искусстве до совершенства. От собаки не отличить. Поверь мне, милый человек, Петр Михайлович, я-то уж не доживу, а ты увидишь – скоро актеры на сцене будут по-собачьи лаять и пьесы такие для них писать будут.

Смесь водки с коньяком, лиссабонским, гобарзаком и другими жидкостями, расстроила нервы Хрисанфа: он впал в меланхолию.

– Ступай, милушка, ступай на этот узкий путь, – говорил он только что начинающему актеру, поглаживая его по голове.

– Хочу попробовать, Хрисанф Николаевич.

– Это, брат, дело не пробуют. В это дело как окунешься, так на дно и пойдешь – уж не выплывешь. Тебе который год?

– Девятнадцатый.

– В тебе искорка есть, я это по глазам твоим вижу. Ты знаешь, где скрывается талант у актера?

– Где-с?

– В глазах! Посмотри когда-нибудь в глаза Садовскому! А у Мочалова какие глаза-то были! Я имел счастье играть с этим великим человеком в Воронеже. Он играл Гамлета, а я – Гильденштерна.

– «Сыграй мне что-нибудь».

– «Я не умею, принц».

Он уставил на меня глаза – все существо мое перевернулось. Лихорадка по всему телу пробежала. Как кончил я сцену – не помню. Вышел за кулисы – меня не узнали.

– «Ты хочешь играть на душе моей, а не можешь сыграть на простой дудке».

Губы у Хрисанфа затряслись, и хлынули из глаз слезы.

– Это был гений!

– А говорят, Каратыгин выше его был.

– Ростом выше. Каратыгин! Конечно, талантливее всех нас, грешных, но до Мочалова ему гораздо дальше, чем нам до него. Царство тебе небесное, великий артист!

Хрисанф перекрестился и, немного подумав:

– Ну, бог тебя благословит! Может, посчастливится, будешь знаменитым актером, меня уж, разумеется, тогда не будет, так ты меня тогда вспомни. Да, путь наш узкий, милый человек, и много на нем погибло хороших людей. Мельпомена-то бывает бессердечна: выведет тебя на сцену в плаще Гамлета, а сведет с нее четвертым казаком в «Скопине-Шуйском». Старайся! Не свернись! Вышел на сцену – забудь весь мир! Ты служишь великому искусству! Если ты понимаешь, что я тебе говорю, то продерешься чрез эту чупыгу, через наш узкий путь, – окончил Хрисанф, восторженно хлопнув ладонью по столу.

Узкий путь! Им начинается история нашего театра. Впервые вступили на него праотцы наши драматические художники – подъячишка Васька Мешалкин[116] с товарищи. «По

твоему великого государя указу, – вопят они царю Алексею Михайловичу, – отослали нас, холопей твоих, в Немецкую слободу для изучения комидийного дела к магистру Ягану Готфрету,[117] а твоего великого государя жалованья корму нам, холопом твоим, ничего не учинено, и ныне мы, холопи твои, по вся дни ходя к нему, магистру, и учася у него, платьишком ободрались и сапоженками обносились, а пить-есть нечего, и помираем мы, холопи твои, голодною смертию. Пожалуй нас, холопей своих: вели, государь, нам свое великого государя жалованье на пропитание поденной корм учинить, чтоб нам, холопом твоим, будучи у того комидийного дела, голодною смертию не умереть».[118] Этим путем, при полном нравственном угнетении, достиг своего величия слава и гордость русской сцены – Щепкин.[119] Этот путь прошел Садовский, разыгрывая в Лебедяни перед пьяным трактирщиком пьесу за порцию щей и кусок говядины.[120] На этом пути страдала знаменитая драматическая художница Кошицкая, пока судьба не доставила ей случая поцеловать ручку директора театров Гедеоно-

Хрисанф был прекрасный человек и прекрасный актер-трагик. Он имел слабость корчить из себя отставного военного человека: носил усы, вытягивал вперед грудь, ходил военной поступью, в разговоре намекал, – что он принадлежал к военному сословию, хотя по генеалогии своей он к этому сословию не принадлежал, а только родился в Бобруйской крепости, от комиссариатского чиновника, и детство провел среди военного элемента. Бокковые ложи театра он называл флангами, средние и раек – центром, суфлерскую будку – амбразурой и т. д.

Он был поэт в душе и в возбужденном состоянии так правдоподобно рассказывал небывалые с ним происшествия, что все его заслушивались. Он рассказывал, что дед его чуть не взял в плен Наполеона; что он на льдине, во время ледохода, проплыл от Симбирска до Самары; что на Волге, в Жигулях, отстреливался от разбойников и двоих убил и т. п. Обыкновенно скромный относительно своих сценических дарований, в возбужденном состоянии он начинал хвастаться.

– Вот какой со мной был случай, – начинал он. – Приехал я в Нижний, вышел в первый раз в своей коронной роли, в Гамлете. Ну, что тут говорить! Левый и правый фланг – битком. Центр – голова на голове; смотрю в амбразуру – частный пристав с Митькой-суфлером жену свою посадил. Только показался – залп со всех батарей... и пошло, и пошло!.. Офелию мне дали какого-то заморыша, хоть и с огоньком девка, вице-губернатора потом где-то так смазала... Прямо из губернского правления под венец свела. Как я своим шепотком-то здесь шепчу, а в Таганке слышно:

– «Удались от людей!»

Офелия моя скорчилась, дрожит, побледнела... В театре шум... Жену соляного пристава вынесли... А уж как:

«Оленя ранили стрелой!» – губернатор высунулся из ложи и замер, полицеймейстер, кажется, уж по должности своей каменный человек – ревет; Митька в амбразуре книжку бросил и держит за плечи жену частного пристава; а публика... ужас! Чувствую – у меня-то у самого волосы на голове поднимаются. Слава богу, кончил! Во второй спектакль я доложил

графиню «Клару д'Обервиль», [122] в третий – «Велизарий», отбою нет от публики. После пятого спектакля узнаю, что во время Макарьевской ярманки [123] я буду атакован: в тылу у меня Михаил Семенович Щепкин, он в то время в Казани был, а с флангу надвигается из Москвы Мочалов... Ну, думаю, с двумя, пожалуй, не сладишь. Я к Архипу Ивановичу: «Разойдемся», – говорю. «Нет, говорит, Павел Степанович [124] отказался: «У вас, говорит, там Хрисанф, что я с этим чертом буду делать. Не поеду. Кланяйтесь ему от Павла». Отступил без выстрела!

До шестой недели великого поста сделки у держателей театров с актерами все продолжались. Зверев накупил на Ильинке подержанных шляп и лаковых сапог для любовников, заказал полдюжины комических париков, ангажировал двух комиков. Борис Климыч «нанял» на Коренную ярмарку тамбовского трагика, сманил у Смалькова первого любовника и у Смирнова – комическую старуху, а Смальков перебил у него жидка, лающего по-собачьи. Другие держатели тоже по-

полнили и изменили свои труппы. Кирилл Ермаков, с открытием навигации, должен отплыть по Волге в Астрахань; Яковлев «кончил» в Нижний и, прощаясь с товарищами, восторженно говорил: «Давно я лелеял мысль сыграть Минина на месте его родины. Там я изучу кремль, Соборную площадь, на которой он говорил с народом, и может, бог поможет. показать Минина как следует. Игрывали! Не знаю! Сам[125] хвалил когда-то, даже говорил: готовься ко мне в преемники!» Медынцев тронулся в Кострому с предположением выступить для первого дебюта в роли Ивана Суанина в драме «Костромские леса». На первых любовников был спрос большой, и приехавшие все почти ангажированы; со вторыми любовниками была заминка. С комиками к концу поста стало тихо. Этим воспользовались Смирнов и Червончик, и они пошли за бесценнок: один комик Лилеев-Обносков с своими париками пошел к Червончику за двадцать рублей и одну четверть бенефиса. Остался без приглашения один первый любовник Райский за слишком невыгодные предложения, которые он делал содержате-

лям театров. По изящному костюму – он постоянно ходил во фраке и брюках с лампасами, – по манерам и круто завитым волосам он резко выделялся из массы актеров, посещавших Белую залу. Когда он скрепя сердце обратился с предложением к Борису Климычу, которого он ненавидел и презирал за его грубость и невежество, тот сказал ему: «Нам проще надо». Никакие убеждения, что он играет роль Чацкого не так, как другие играют, – последний монолог:

Не образумлюсь, виноват!

весь, от начала до конца, как глубоко оскорбленный человек, говорит адским шепотом и, нервно вскрикнув:

Карету мне, карету!

в дверях падает; что на роль Хлестакова он смотрит совсем не так, как другие, – в его исполнении Хлестаков является изнеженным и избалованным баричем, что он встречает Городничего в голубом шелковом халате, а не в жакетке; показывал адреса, поднесенные ему разными городами с выражением благодар-

ности за доставленные восторги, за высокое художественное наслаждение в течение сезона; показывал серебряный портсигар, полученный от купцов в Ельце; показывал перстень с жемчужиной, на футляре которого вытиснено золотыми буквами: «Артисту Райскому слеза за пролитые слезы от благодарной публики», – ничего не помогло. Борис Климыч, дуя в блюдечко с чаем, говорил одно: «Не требуется, напрасно вы только себя беспокоите».

Как делались соглашения с актрисами, – неизвестно, потому что договоры с ними содержателей театров происходили в Чельшах. В конце поста делалось известным, что такая-то – в Полтаву, такая-то – в Курск; Червончик говорил, что он пригласил актрису на роли *grande-dame*, [126] с французскими фразами; Смальков – двух «субреток [127]», из которых одна с танцами, а другая «с голосенком», может играть «Материнское благословение». [128] Борис Климыч пригласил еще «бытовую старуху» и «молодого актерика на комильфотные роли [129]». Актеры Выходцев и Завидов решили отправиться на свой страх, без при-

глашения, первый – в Аккерман, второй – в Рыбинск. Белая зала все пустела и пустела. Заходили только несчастные суфлеры, самые необходимые и самые горькие и многострадательные люди в труппе, да актер Райский. Сначала он ходил «при часах и при цепочке», потом при одних часах, без цепочки, потом совсем без часов, наконец и жемчужная сле-за его скатилась где-то на Грачевке, в витрину Абрама Моисеевича Левинсона.

– Фортуны вам нет, Иван Степанович, – говорил ему Гаврила, – которые вот даже пьющие, все по местам разошлись, а от вас мы, кроме благородных поступков, ничего не видали, а вы без места остались.

– Ничего, Гаврила, выдержим!

– Вот этот хохлатенький-то, в клетчатом сертучке, по-собачьи-то лаял, за семь пирогов не заплатил... слопать-то слопал, а денег не заплатил... Буфетчик с меня вычел.

– Сколько?

– Семь гривен да три подливки особенно, по гривеннику, – рубль.

– А ты зачем подавал?

– Помилуйте, как же! Приходит человек с

полным аппетитом, говорит, давай! Скушает – за мной!

– Деньги небольшие. Вероятно, он забыл. На, получи. Я плачу за него. Все-таки он товарищ мне по искусству.

– Именно как вы есть благороднейший человек, хо-ша и сами в стесненном положении... Покорнейше благодарим... человек я бедный...

– Поправимся... Прощай. Я, братец, никогда не унывал!

– Это уж последнее дело. Надо стараться, чтобы все в лучшем виде... – окончил Гаврила, провожая гостя до лестницы.

Дела Райского после святой недели действительно поправились... Он доплелся кое-как до Харькова, втерся за ничтожную плату в театр, сошелся со студентами тамошнего университета, стал посещать их беседы, на которых ему открылся совершенно новый мир. Молодые люди разъяснили ему, что такое Чацкий, что такое Хлестаков и вообще что такое драматическое искусство.

– Ну, скажите, пожалуйста, – наставлял его один студент, – зачем вы в Чацком кричите

монологи до самозабвения, даже до одурения?

– Для эффекту, – робко возражал Райский.

– Разве сценический эффект в неистовом крике? А зачем вы пропускаете знаки препинания в монологах? Впрочем, вообще знаки препинания для вас больное место. Не дальше как вчера, в сцене у фонтана с Мариной Мнишек вам нужно было сказать:

*Царевич я. Довольно! Стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться...*

А вы прокричали:

*Царевич я. Довольно стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться.*

«Довольно стыдно мне» не может сказать царевич: это фраза гостинодворца.

– И мне позвольте вам заметить, – вмешивается другой студент. – Зачем вы во всех ролях выходите с завитыми волосами: Чацкий у вас завитой, Хлестаков – завитой, Скопин-Шуйский – завитой, Самозванец – завитой...

– А вот это уж совсем не хорошо талантливому артисту, – заключает молодой адъютант-профессор, – играя Полония в «Гамлете», вы надеваете красную куртку с гусарским шитьем, накидываете сверху синий плащ, подбитый красным, в виде мантии, на голове у вас голубая ермолка с зеленой кисточкой, а на ногах ботфорты. Это ужасно нехорошо, неестественно и неверно.

– Ну, так что же, господа, – восклицал уничтоженный Райский, – научите меня, как надо играть.

– Научить вас, как *надо* играть, – мы не можем, а вот, как *не надо* играть, – можем, – отвечал адъютант.

Возвращаясь домой, Райский предавался унынию, плакал, сознавал свое бессилие и на другой день опять шел на беседу к студентам. Беседы эти сильно подействовали на его впечатлительную натуру: он стал слушать советы, стал совершенствоваться. Немалую тоже услугу ему оказал один богатый харьковский помещик, страстный театрал, гордившийся личным знакомством с французским актером Алан,[130] не признававший Гоголя и Остров-

ского, предпочитавший им Кукольника и Полевого и преклонявшийся пред величием трагика Каратыгина, которого он называл «генерал-адъютантом в искусстве». Сидя в театре, высказывал резко свои суждения о пьесе и об игре актеров вслух, во время действия. Например:

– Пора спускать занавес – ничего не выходит.

Или:

– Вот так Офелия! Это кислота какая-то...

Про актеров:

– Если бы мой крепостной человек, я бы его... и т. д.

Актеры не обращали на его выходки внимания, потому он был добрейший человек и необыкновенный хлебосол. Драматические деятели находили у него роскошный обед без всякого приглашения.

– Очень рад, – встречал он гостя, – у меня сегодня суп из хвостов, севрюга малосольная, спаржа[131] приехала, да каплун с трюфелями[132]... Не знаю, будете ли сыты? А вы вчера, мой дражайший, прескверно играли. Извините! А уж как этот играл... ваш товарищ...

Как его фамилия?

– Рубцов...

– Если бы он был мой крепостной человек, я бы ему таких рубцов... Черт знает что!

В это время входит Рубцов.

– А, здравствуйте! Мы вас, дражайший, браним. Вы вчера были отвратительны до невозможности! Если бы были мой... Помилуйте, так нельзя. Во втором действии монолог отлично прочитали... Хвалю!..

– Ваше превосходительство, это роль-то...

– Не оправдание! Гете сказал: нет дурных ролей. Не оправдание! Мне покойный Алан говорил... вы понимаете по-французски?

– Нет, ваше превосходительство.

– Жалко! Он мне говорил...

Разговор перебивает вошедшая актриса.

– Ах, Марья Ивановна, позвольте поцеловать вашу ручку. Вы вчера заставили меня плакать. Если бы проезжала через Харьков Арну-Плесси...[133]

– Что вы, ваше превосходительство...

– Нет уж, извините, я даром не хвалю. Вот они оба играли вчера скверно – я сказал прямо, что скверно.

За столом его всегда можно было встретить двух-трех человек из предержанных властей, несколько проезжих через Харьков помещиков, актрис, актеров и неперемного гостя всех обедов, отставного пехотного майора Нестеренко, который не признавал никаких вин, кроме водки, и пил ее в неограниченном количестве. В его диалоге были только три фразы: когда хозяин приглашал к водке, он говорил: «Сердечная моя признательность вашему превосходительству»; вторая: «Совершенно верно изволите говорить, ваше превосходительство», и третья: «Нда-с! об этом надо подумать».

После обеда гостеприимный хозяин, *rouge la bonne bouche*, [134] приглашал гостей в кабинет, где ставились ликеры, шампанское, зельтерская вода, фрукты и т. п., и прочитывал что-либо из драматических произведений Кукольника или Полевого. Власти, нагипнотизированные уже прежде чтением хозяина, поспешно удалялись; оставались только помещики, несчастные актеры и майор Нестеренко.

Вводя всех в кабинет, почтенный люби-

тель драматического искусства говорил:

– Ну-с, господа, теперь позвольте мне, старику, показать вам свое искусство. Мы ведь не учились ему, а только потерлись около моего друга Алан, около Каратыгина – Мочалова не признаю, хоть и знаком с ним был, – и кое-что от драматических вельмож позаимствовали. Я вам сегодня прочту несколько сцен из «Скопина-Шуйского» Нестора Васильевича Кукольника... На днях будет произведен в действительные статские советники... и давно пора... Патриот-поэт! Петька!

Входит маленький слуга-казачок.

– Принеси мне маленький кинжал...

Весьма важный аксессуар в сцене Ляпунова с Екатериной.

Петька приносил небольшой кинжал. Все усаживались по местам; майор не садился – слушал стоя, заложивши палец за пуговицу военного сюртука.

– Ну-с, я готов. Прочту сцену юродивого с Екатериной.

– «Здравствуй, Катерина, пока господь дает тебе здоровье», – начинал он протяжным, заунывным голосом, от звуков которого, по тре-

тЬему стиху, испустила пискливую ноту ле-
жавшая под диваном собака.

– Петька! Сколько раз я тебе говорил, что-
бы кобеля убирать. Запорю! Ужасно нервный
кобель... Извините...

*Здравствуй, Катерина, пока гос-
подь дает тебе здоровье,
И веселись, пока с тобой веселье...
Но придет час, его же знает небо,
Восплачется весь мир и сердце на-
ше богу обнажится.*

Какие превосходные стихи!

– Совершенно верно изволите говорить,
ваше превосходительство.

В середине длинного монолога чтец с
неудовольствием обратился к одному из слу-
шавших помещиков:

– Петр Мироныч, ты бы шел в сад. Ты при-
вык у себя на хуторе после обеда отдыхать.

– Я ничего, ваше превосходительство.

– Как ничего? Храпишь!..

– Это вам так показалось. Я слушаю с вели-
ким удовольствием.

Дойдя до сцены Ляпунова с Екатериной, он
вскакивал со стула, бросал книгу, схватывал

кинжал и кричал, подражая трагику Каратыгину:

*Пей под ножом Прокопа Ляпунова,
Пей под анафему святого царства!..*

– И эти стихи какой-то Островский вложил в уста пьяному купцу в своей комедии. И как это просмотрело третье отделение? Неодоумеваю! Пьяному купцу, которых мы встречаем около винного погреба Костюрина. Я, разумеется, написал об этом в Петербург.

После чтения пили шампанское и шла беседа о драматическом искусстве. Говорил один хозяин.

– Вот если вы мне сделаете честь, пожалуйста ко мне в четверг, я вам прочту «Горе от ума» и расскажу вам кое-что, чего вы не слышали. Вероятно, вы не знаете, что Фамусов списан с моего дяди, Филат Матвеича, известного декабриста... Конечно, это между нами... А Репетиллов... ну, да это до четверга.

Истомленные чтением гости, выпивши по несколько бокалов шампанского, расходились.

Вот к этому-то учителю и попал Райский. Мучил он его чуть не каждодневно, в продолжение целого сезона, закармливал его роскошными обедами, называл его своим дорогим учеником, делал ему подарки и, окончательно научив его, как играть не надо, вселил в него полное отвращение к его прежним сценическим приемам. Райский сделался отличным актером.

После святой недели драматических художников больше не было видно в Белой зале; все они двигались по предназначенным им пунктам: кто плыл по Волге, кто переваливал Уральский хребет, кто кочевал в степи, направляясь к южным городам, кто стремился к берегам Азовского и Черного морей, кого забрасывала судьба на конечный пункт Российского государства – на устье Северной Двины. И все это двигалось, совершая как бы предопределение. Ничто не останавливало: ни дальность пути, ни скудость средств при передвижении, ни перспектива разных сценических неудач – равнодушные публики, которую актеру часто приходится смешить

«сквозь незримые ей слезы», и других случайностей. Вперед, в храм славы, в храм искусства, в храм восторгов и самообольщения, в храм злобы и зависти! Вперед, в мир сплетен, в мир нескончаемых интриг, в мир озлобленного самолюбия и коварства!

Теперь уже не существует Белой залы, не существует и прежних актеров; актеры новой формации собираются в ресторане «Ливорно», о котором впереди будет мое слово.[135]

«Новое время», 14 марта 1890 г.

Перед лицом графа Закревского (Из моей автобиографии)

Во дни оны...

Это было в 1857 году. Давать в то время великим постом публичные литературные вечера не позволялось, хотя первенствующие тогда артисты М. С. Щепкин и К. Н. Полтавцев почитывали в зале Купеческого клуба, но без афиш; да и при выборе пьес для чтения комический элемент изгоняли. Так, Щепкин читал из «Полтавы» Пушкина, Полтавцев «Клермонтский собор» Майкова и т. п., даже нагольный комик-буф В. И. Живокини, и тот должен был читать «Светлану» Жуковского, что выходило, помимо его воли, ужасно смешно.

В Москве гостил знаменитый французский комик Левассер,[136] давал он представления в Малом театре. Графиня Л. А. Нессельроде, дочь графа А. А. Закревского, пригласила меня на один из своих интимных вечеров, на

котором был и Левассер. Репертуар моих рассказов был в то время очень не велик, и выступить на турнир с Левассером мне казалось страшным. П. М. Садовский, флегматически понюхав табаку, ободрил меня: «Ничего-с, Иван Федорович, валяйте смело! Граф, если он там будет, так он этого Левассера и не поймет... А вы ему изобразите квартального (сцена в канцелярии квартального надзирателя, первый по времени мой рассказ), и чудесно будет!.. Очень доволен останется».

В назначенный час я вошел в гостиную графини и был ей представлен М. П. Лярским, блестящим гвардейским полковником.

– Очень рада, – сказала мне графиня. – Вы его слышали?

– Слышал в Петербурге.

– Я очень рада!.. Он прекрасно!.. Он сейчас будет *von homme*[137] петь... А вы поете?

– Нет.

Живая, бойкая, молодая, веселая графиня Лидия Арсеньевна засыпала меня вопросами и представила меня своей графине-матери, которая приветствовала меня с величайшей любезностью.

– Много я слышала об вас, батюшка, – сказала она, – жалко, что граф не может быть сегодня, ну, да вы после доставите ему удовольствие вас слышать.

Мысленно я огорчился, что граф был в отсуствии. Мне очень хотелось поближе посмотреть сподвижника Александра Благословенного,[138] покрытого

*Славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого
года.*

Цвет московского высшего общества занимал гостиную графини. Все находились под впечатлением левассеровских куплетов. Левассер исполнял их превосходно, и грим был необыкновенный, чему немало способствовала подвижность его личных мускулов. Он оставил у нас по себе много раздражателей, был, так сказать, насадителем у нас куплета.

Из мужчин первенствовали в гостиной графини М. Н. Лонгинов, А. Л. Потапов, тогда флигель-адъютант, и Б. М. Маркевич, камер-юнкер.

Отворилась дверь из соседней с гостинойю

комнатой, вышел с сияющей улыбкой Маркевич, а за ним Левассер, загримированный старичком, в камлотовой[139] шинели, в кругленькой шляпе, под зонтиком, это – bonhomme. Сдержанный хохот раздался в гостиной.

Левассер имел полный успех. Восторгу не было конца. Наступила моя очередь. Неуклюже и застенчиво вышел я на середину гостиной и начал рассказывать. М. Н. Лонгинов передал Левассеру по-французски суть моих рассказов. Я тоже имел успех. Особенно рассказы мои понравились графине-матери.

– От души я, батюшка, посмеялась, – сказала она мне при прощанье, – француз хорош, а вы лучше...

Угрюмый А. Л. Потапов[140] вторил графине, Лонгинов наговорил мне много любезностей, а Маркевич[141] прочитал мне поучение.

– Та среда, – говорил он, – из которой вы берете ваши рассказы, для гостиной не годится. Заметили вы, – Левассера все поняли, а вас нет, хотя вы очень хорошо передаете. Согласитесь сами: например, княгиня Щербатова

никогда не бывала в канцелярии квартально-го надзирателя... Какой ей интерес в вашем рассказе? Вы в Петербурге сделались салон-ным рассказчиком и в Москве вам предстоит то же... Я слышал, что вас хотят приглашать многие. Мы с вами поговорим. Я вам подска-жу, что нужно для гостиной. Вам нельзя ид-ти на хвосте у Островского – он свою песню спел... Вам нужно... Мы с вами поговорим... Отчего вы не обратитесь к Тарновскому (пере-водчику водевилей)? Он для вас напишет, на-конец – я вам напишу... Мы поговорим...

Левассер так взглянул на мои рассказы: он сравнил меня со своим соотечественником Henry Monnier[142] и сказал, что если он моих рассказов не понял, то прочувствовал, и, крепко пожавши мою руку, назвал меня camarad'ом.

Графиня Нессельроде спросила меня, отче-го я не прочту своих рассказов в Малом теат-ре.

Я отвечал, что это постом запрещено.

– А как же Левассер?

– Иностранцам позволено.

– Какой вздор! Граф вам разрешит. Я ему

скажу.

На другой день я получил записку, которую прочитав, выразумел, что я должен явиться к графу Закревскому в восемь часов утра, и не с главного подъезда, а со двора.

По узкой лестнице взобрался я во второй этаж и очутился в длинной передней. Передняя проявляла кипучую деятельность. Несколько пар сапог со шпорами отражали от себя ослепительный блеск, а одна пара готовилась к восприятию блеска. Казачок-лакей смазывал ее ваксой, ходил по ней густой щеткой, дышал на нее и т. п. Сюртук с густыми белыми эполетами гордо распростерся на длинной вешалке, около него стоял длинный лакей с веником. На диване сидел в вицмундире чиновник со Станиславом на шее, рядом с ним какой-то купец.

– Что вам угодно? – спросил меня толстенький старичок в сюртуке и белом жилете.

– Мне нужно к графу...

– По какому делу?

– Графу известно, что я к нему приду.

– Этого невозможно! – возразил старичок, осматривая меня с ног до головы. – Если про-

шение какое...

– Нет, вы просто доложите. – Я назвал свою фамилию.

– Все это я очень хорошо понимаю и фамилию вашу мне сказать не трудно, но только этого никак нельзя. Иван Дмитриевич, – обратился он к чиновнику, – объясните им.

Чиновник посмотрел на меня в упор.

– У вас, может, письмо есть?

– Нет.

– Трудно!

– Да вы отчего же сказать не хотите? – спросил меня снова старичок.

– Может, живописец, – процедил сквозь зубы лакей, стоявший у мундира.

Несколько секунд раздумья.

– Извольте, я доложу, только бы... чего не случилось. Извольте снять пальто.

Я снял. Веник ерзал по мундиру, щетка сверкала по сапогу. Чиновник пристально смотрел на дверь, в которую ушел старичок.

– Пожалуйста! – слышалось из двери, но уже тоном ласковым. – Пожалуйста! Граф сейчас выйдет.

Мы вошли в обширную комнату, в которой

стояло два огромных письменных стола.

– Вот вы обождите здесь, – заговорил старичок шепотом. – Граф вон оттуда выйдет... Вы ему и доложите все, что вам нужно. Он добрейший человек и любит, чтоб с ним смело говорили.

В дверях показалась в халате крупная, важная, плешивая, величавая фигура графа Закревского.

– Здравствуй! – сказал он резким хрипловатым голосом.

Я почтительно поклонился.

– Да ты совсем молодой... Ты мальчик... Очень рад для тебя сделать все... Мне графиня об тебе говорила. Садись. Что тебе нужно?

Я изложил свою просьбу, что желаю прочесть свои рассказы перед публикой.

– Хорошо. Подожди здесь. Придет Федор Петрович, он тебя устроит.

С этими словами граф вышел и воротился через полчаса в сюртуке без эполет. Вслед за ним вошел Федор Петрович.

– Вот, Федор Петрович, в чем его просьба. Он просит...

– Мне графиня говорила, ваше сиятель-

ство... Я думаю, можно в частной зале, а не в театре... Ведь это решительно все равно... Графиня уж и зало нашла.

– Прекрасно. Только ты, – обратился он ко мне, – съезди к Верстовскому (управляющему московских театров) и скажи ему, что я согласен.

Маститый маэстро Верстовский изъявил полное свое согласие и пожалел, что он не может позволить в театре.

Первый мой литературный вечер дан был на Тверской, в зале А. А. Волкова. Вся московская знать почтила меня своим присутствием.

На другой день я был приглашен к графу на вечер, на котором должен был участвовать Левассер и М. С. Щепкин. Вечер был блестящий. Михаил Семенович с чувством и одушевлением прочел стихотворение Пушкина «Полководец» и произвел на участников двенадцатого года сильное впечатление. Старец-комендант Стааль прослезился. Левассер понравился барыням и молодому поколению. Антракт. Подали мороженое. Граф подозвал меня к себе и шутливо-повелительным тоном

произнес: «Зарежь его!» (то есть Левассера). Я вышел на эстраду и имел большой успех, даже удостоился рукопожатия от графа и от древнего старика Стааля.

– Ведь он наш, Михаил Семенович, здешний... московский, – обратился граф к Щепкину.

Михаил Семенович прослезился и поцеловал меня в лоб.

После 1881 г.

Послесловие

Неподражаемый рассказчик

«Кажинный раз на этом месте...» Немногие знают, что эти крылатые слова впервые произнес прославленный рассказчик Иван Федорович Горбунов.

Крестьянский сын из подмосковного фабричного села Ивантеевка, «из-за стесненных средств» покинувший третий класс гимназии, Горбунов занимается перепиской, дает уроки в небогатых купеческих домах Замоскворечья. Он наблюдает быт и нравы московского захолустья, жадно вслушивается в удивительные извивы образной русской речи, почти ежедневно посещает дешевый раек Малого театра.

Москва 1849 года... Никому не известный юноша Горбунов каллиграфическим почерком переписывает никому почти не известную комедию «Банкрот». Вечером к переписчику зашел белокурый, франтовато одетый молодой человек, лет двадцати пяти – автор комедии.

– Позвольте вас спросить, – робко обратился к нему Горбунов, – я не разберу вот этого слова.

– «Упаточилась» – слово русское, четко написанное.

Так впервые встретился автор «Банкрота» («Свои люди – сочтемся») А. Н. Островский с лучшим другом и соратником своим И. Ф. Горбуновым.

Горбунов одно время и жил в доме А. Н. Островского. Здесь в 1853 году сотрудники «молодой редакции» «Москвитянина» услышали его первые рассказы из народного быта. Прием был восторженным.

Знатоки и чародеи звучащего русского слова Александр Островский и Пров Садовский сразу же разглядели необыкновенность горбуновского таланта. Они его первые ценители, вдохновители, наставники. Садовский страстно пропагандирует новоявленный талант по всей Москве. В 1854 году в свой бенефис он выводит Горбунова на сцену Малого театра в роли молодого купца в пьесе М. Н. Владыкина «Образованность». А через год при содействии Садовского и Тургенева Гор-

бунов переходит навсегда в петербургский Александрийский театр.

Живя в Петербурге, Горбунов остается москвичом. Кончается театральный сезон, и он устремляется в город своей юности. В Москве у него остались и лучшие друзья – кружок «молодой редакции» «Москвитянина»: Пров Садовский, Аполлон Григорьев, Евгений Эдельсон, Третий Филиппов, Борис Алмазов, Николай Рамазанов и другие. Душой «молодой редакции» был А. Н. Островский. Здесь царил культ слова, культ старинного русского быта. Здесь же родилась и неосуществимая попытка найти истинно русские народные характеры в среде самодурного купечества.

А. Григорьев, обращаясь к «старым» славянофилам, писал: «Убежденные, как и вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, – в классах, не тронутых фальшью цивилизации, – мы не берем таковым исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую, извечную Русь».

Эти славянофильские взгляды сказались даже в пьесах Островского «Не в свои сани не садись», «Не так живи, как хочется» и особенно в «Бедность не порок».

Но почему только один член «молодой редакции» Иван Горбунов не поместил в славянофильском «Москвитянине» ни одного произведения? Почему он первое свое печатное произведение «Просто случай» отнес в журнал западников «Отечественные записки»? Да потому, что не защита «человеческого» в пьяном русском купце, а осмеяние его – вот пафос этого произведения, разделивший Горбунова с славянофилами. В своем творчестве он всегда оставался писателем-демократом, верным учеником Островского. Влияние «молодой редакции» сказалось более на известной аполитичности Горбунова.

Публичные чтения своих сцен Горбунов начал в 1855 году в Москве и Петербурге. Это был какой-то неслыханный взлет артистической славы, Вскоре по приезде в Петербург он пишет отцу: «Теперь у меня приглашение за приглашением; признаться сказать, попринадоело... Не знаю, чем кончится моя карьера, а

начата так блестяще, что ни один актер так не начинал своего поприща: «Да какой актер? Из литераторов-то».

Репертуар еще весьма скромнен «У квартального надзирателя», «Мастеровой» да начавшая свое триумфальное шествие сцена «У пушки». Вот и все. А слушатели не замечают этой ограниченности. В десятый, в сотый раз несется требовательное: «У пу-у-шки!..», «У пу-ушки!..», «Читайте «У пушки!».

Обостренное чувство слова, чарующая правдивость интонаций, тембра, ритма речи героев, тонкая юмористическая наблюдательность, уморительная мимика, игра глаз – вот что покоряло зрителей в этом «актере из литераторов-то». И как-то сразу всем стало ясно – на русской земле появился талант новый, незнаемый.

Невольно вырвалось словечко «неподражаемый», да так и осталось постоянным эпитетом горбуновского таланта. Подражать Горбунову и нельзя. Полное и мгновенное перевоплощение в своих героев, редкостный дар имитации, богатство мимики, неисчерпаемое многоголосие – это мог только Горбунов.

Один он мог делать свои «перемолвки на двенадцать голосов». И всякий, кто не видел, а лишь слышал рассказчика, был убежден, что где-то по-соседству беседуют, спорят, восторгаются и негодуют двенадцать характеров, двенадцать живых людей, а то и целая уличная толпа.

Запечатлеть и выразить характер в одной реплике – это, на зависть всем драматургам и актерам прошлого и настоящего, умел только Горбунов. Рассказы его надо было слушать в его же исполнении. Но и читая их, мы слышим интонацию героев. Городовой уводит в участок астронома-любителя. Толпа обывателей комментирует это событие. Слышится: «На Капказе бы за это...»

Одна реплика. И перед нами старый забитый служака, для которого высочайшая, святая справедливость – офицерская зуботычина.

Где имитация – там и курьезы. Горбунов совсем не знал по-английски. Англичане же, слушая его речи и не понимая ни слова, были абсолютно и приятно убеждены, что их приветствуют на родном языке. У Горбунова даже

был, не сохранившийся в записи, рассказ «За-атлантические друзья». На банкете выступают виновники торжества – американцы. У каждого особый тембр и ритм речи в соответствии с характером и темпераментом. И все это на «английском» языке, сымпровизированном Горбуновым.

Писатель и актер Горбунов – «мастер характерной детали, лаконичного сгущенного мазка». Это его стихия. В ней он нашел себя, свое призвание, свое место в искусстве. Большие роли, по-видимому, не укладывались в его исполнительскую технику. Прослужил он в Александрийском театре 40 лет. Островский назначал ему роли во всех премьерах своих пьес. Но только Кудряша в «Грозе» он сыграл с подлинно горбуновским комедийным лиризмом, Кудряш – Горбунов вошел в золотую галерею русских сценических образов.

Горбунов – новатор, первооткрыватель и неподражаемый мастер в другом жанре. Он становится властелином подмостков, антрактов, актером без рампы и декораций. Горбунов упрочил на русской сцене устный эстрадный рассказ. Радуясь за своего талантливую

ученика, Островский говорил: «Горбунов читает совершенно моим тоном». Но Горбунов пошел и дальше своего учителя. Он раздвинул возможности звучащего слова, открыл его новую, эстрадную стихию.

Не только редкий дар имитации и импровизации, необыкновенность исполнительского мастерства создали Горбунову крылатую славу. Злободневность сцен из народного быта, гуманизм автора вызывали громадный интерес слушателей в годы борьбы за освобождение крестьян от крепостного рабства. На литературных вечерах, благотворительных концертах, а чаще на дружеской вечеринке повествовал актер-рассказчик о жизни народа. И, выйдя на сцену Александринского театра в антрактах, на бенефисах своих друзей, этот «отец русской эстрады» переносил своих слушателей от репертуарных замков и будуаров, еще частых в то время, в московское захолустье, в деревенскую глушь.

В сценах из народного быта – тонко подмеченная Горбуновым психология незаметного русского человека, горемычная жизнь крестьян и фабричного люда.

Крестьянам и фабричным Горбунова присуще любовное, какое-то просветленное отношение к русской природе. В ней они черпают силу, свою житейскую уверенность. Лес, луг, река, их обитатели с непременными лешими и водяными – это особенный, поэтический мир простого человека. У чудаковатого героя сценки «Безответный» природа – страсть, самозабвение, вся жизнь: «Народ – кто в трактор, кто куда, а я в лес...» Но и эта безобидная, поэтическая любовь приносит герою страдания.

Страдания и слезы – неотвязные и печальные спутники жизни народной в рассказах Горбунова. «Вся-то жизнь наша слезы, – говорит старик в «Медведе», – родимся мы во слезах и помрем во слезах... И сколько я этих слез на своем веку видел и сказать нельзя».

Дореформенные и пореформенные крепостники всегда вызывали ненависть автора. Крестьяне Горбунова еще неспособны на активный протест. Они протестуют своеобразно – отмежевываясь от господ, оберегая свою чистоту, а подчас свои наивные представления, даже темноту свою.

Да и кто развеет эту темноту русского мужика! Ведь «господам служили, а господину зачем наша наука, – резонно рассуждает Прасковья в «Визите»... – Опять же покойница барыня, царство ей небесное, терпеть не могла, кто книжки читает».

Вот почему существование лешего и водяного – это уж вне сомнения, «кого хошь спроси», да к тому же у лешего и вид вполне определенный: «одна ноздря, а спины нет». Как должное воспринимается и слух о явлении в церкви... анафемы с седенькой бородкой, и то, что англичанину все возможно – ведь он верит... в петуха. И эти наивные верования крестьяне оберегают от господ. «Дворянин один в Калуге не верит в лешего», «Но много он знает – дворянин-то?!», «Да что доктора, – утверждает охотник в «Медведе», – для господ они, может, хороши, а нам они ни к че, му... Нашу натуру они не знают, порошки ихние на мужика не действуют». Так улыбка Горбунова просто и своеобразно развенчивала разглагольствования официальной пропаганды о единении и взаимной любви угнетателя и угнетенного.

В юморе Горбунова – раздумье о тоске-печали мужика, у которого, по меткому выражению крестьянина в «Медведе», «душа в грудях заросла». Но и эта «заросшая», темная душа сознает свое человеческое достоинство, а сказать-то о нем может только в песне, да и то, если господ нет дома:

*«Ах, нас, крестьян,
Господа теснят!
Мы не ряженые,
Не помаженные,
Ай в нас душа...»*

Правдивым и колоритным изображением этой «заросшей души», для которой высшее счастье, «коли запрету от господ нет», которая рвется «на произволенье», Горбунов вносил свой вклад в освободительную литературу шестидесятников. Не случайно его поэтический рассказ «Лес», и овеянный грустным юмором «Утопленник», и трагически-безысходная сцена «На большой дороге» печатались в «Современнике» Некрасова и Чернышевского.

«До конца, до мельчайших подробностей ведомый мне мир», – говорил о «темном цар-

стве» Горбунов. Непреступны для свежего ветра высокие заборы замоскворецкие, плотно прижатые ставни, накрепко захлопнутые двери. Непреступно для нормальных человеческих мыслей и чувств ожиревшее сердце купеческое. Сонная одурь, прерываемая диким хмельным разгулом, – вот стихия «темного царства» в сценах из купеческого быта Горбунова.

К концу масленицы от неумеренного блинообжорства купеческий дом «одурел». Молча глядят животы, слышно чье-нибудь громкое икание, да хозяйский сын Семенушка воскликнет: «Манька, я... я забыл, сколько съел...» И последует бабушкино успокоительное; «Ешь, Семенушка, ночью не дадут...»

Беспредельный талант имитатора и мимиста часто увлекал Горбунова на изображение разгульных купеческих оргий. Как никто другой, умел артист-рассказчик вызвать смех-отвращение к забавам захмелевших купчиков. У мужика хмель-забвение – «пей – забудешь горе». Пьяный мужик Горбунова жалок и несчастен. К купцам же Горбунов жалости не находил. Слишком часто видел он, как само-

дуры «в гостинице «Ягодка» мазали горчицей лицо трактирному служителю». И, отрезвев, купец, не видя в этом ничего плохого, объясняет судье с самодурной наивностью: «Какая же тут моя вина, ежели мы за свои деньги... ежели и смазали маленько – беды тут большой нет; если бы его скипидаром смазали... опять и деньги мы за это заплатили».

«Деньги... За все заплачено...» Вот единственные основания купеческой нравственности – самодурства и своеобразной невежественной гордости. Чем нелепей, невежественней, бесчеловечней поступок – тем больше любованию им. Какой-то грамотей-просветитель пытается разъяснить обывателям московского захолустья причины солнечного затмения. О его невесело начавшемся утре мы узнаем из одной реплики купеческого прихлебателя, восхищенного «подвигом» своего Ивана Ильича: «Спервоначалу зашел в трактир и стал эти слова говорить: «Теперича, говорит, земля вертится», – а Иван Ильич как свистнет его в ухо!.. «Разве мы, говорит, на вертушке живем?» Кончилось все участком, и попал туда не Иван Ильич, а несчастный про-

светитель.

В сценке «Развеселое житье» купец выявляется в своих убеждениях еще определеннее. Замечание какого-то господина, что безобразничать с дамами в трактире – «ваше одно необразование», распоясавшийся лабазник «опровергает» сногшибательным ударом.

Картины купеческих нравов в сценах и очерках Горбунова – своеобразное и красочное дополнение к сочинениям великого русского драматурга, бытописателя и обличителя «темного царства» А. Н. Островского.

Горбунов расслышал в народе великий страх перед неправдой полицейщины и бюрократии. На околице убит молнией человек. Мы чувствуем, слышим смятение всей деревни: «Теперь и не разделаешься». Вдруг испуганное, вводящее в дрожь: «Становой!.. Становой!..»

И у мужиков к безвинному Петрухе, первому увидевшему убитого, просьба боль, просьба-страх: «Петрушка! Голубчик, не погуби! Все на себя прими».

Квартальный и становой пользуются у Горбунова вниманием особым. Ведь эта, так

сказать, непосредственная власть страшна крестьянину и московскому обывателю. Сии блюстители порядка могут привлечь к ответу по любому поводу, а то и просто без повода. А коли привлечен, доказывать невиновность – труд напрасный, и остается твердить в любом случае одно и то же: «К этому делу непричинен». Такое же испуганно-недоверчивое отношение простого человека и к суду, и ко всякой власти вообще. Это чувство русского мужика и правила жизнеповедения, вытекающие из него, первый исследователь творчества Горбунова, известный юрист А. Ф. Кони, назвал «целым правосозерцанием, над которым нельзя не задуматься».

Полицейский в сценах Горбунова – это молодой, неукротенный Пришибеев. Время Горбунова – расцвет пришибеевской методы. Горбуновскому Пришибееву никто не возражает. Он не рассуждает, он действует. Арестует портного, собравшегося лететь на воздушном шаре. И кто-то из обывателей резонно замечает: «И как это возможно без начальства лететь?» Любитель-астроном и городской ведут весьма обычный разговор, в котором мы

ясно слышим пришибеевскую интонацию:

«– Вы тогда поймете, когда в диске будет.

– Почтенный, вы за это ответите!

– За что?

– А вот за это слово ваше нехорошее...

– Сейчас затмится!

– Может, и затмится, а вы, господин, пожалуйте в участок».

Очень мало сохранилось рассказов Горбунова о российском судопроизводстве, дававшем его таланту богатейший материал. Только по воспоминаниям современников мы знаем теперь один из шедевров Горбунова «Политический процесс», где российские держиморды и ляпкины-тяпкины ведут удивительно серьезное и до нелепости смешное разбирательство дела крупного государственного преступника, оказавшегося обыкновенным пьянчужкой. Вместе с артистом умерли и сценка «Земское собрание», и рассказ о прибавке жалования уездной полиции, и, наконец, сатирическое изображение несуществующего русского парламента, по вполне понятным политическим соображениям рассказываемое в тесном кругу друзей. Только из-за

победоносцевской цензуры не попало в печать ни одного рассказа о жизни духовенства, которые, по воспоминаниям современников, были многочисленны, на редкость колоритны и остроумны.

Высмеивая крючкотворство судей, рукоприкладство городских, жульничество духовенства, Горбунов был другом, помощником и активным деятелем прогрессивной сатирической журналистики шестидесятых годов.

Не многим известно, что у Козьмы Прутков был родной брат – генерал Дитятин. Это самое вдохновенное создание Горбунова. Свой редкий талант он воплотил в образе старого аракчеевского служаки, дающего свои оценки любому политическому и общественному явлению пореформенной России.

Прикрываясь этой яркой сатирической маской, артист зло и остроумно издевался над всеми видами российского мракобесия, шовинизма, ретроградства и тупоумия. Воззрения Дитятина, в изображении Горбунова, реакционнее реакционнейших «Московских ведомостей» М. Н. Каткова. На сей счет мы имеем даже самопризнание Дитятина, внесенное им в

свою «Записную тетрадь старого москвича»: «Не во всем я с мнением «Московских ведомостей» согласен».

Все прошлое вызывает в ретрограде Дитятине умилительно-восторженное воспоминание. Настоящее – только генеральскую ненависть, раздражение. Дорожил генерал Дитятин больше всего солдатской муштрой, столь усердно насаждавшейся Аракчевым и Николаем I, которая столь блистательно привела к крымской катастрофе. Впрочем, к этой катастрофе генерал Дитятин «непричинен». Ведь именно он всегда утверждал, что «солдат создан не для войны, а для караульной службы». И приводил убедительный аргумент знатока: «Война пачкает мундиры и разрушает строй».

Генерал Дитятин не только без устали негодовал на военное министерство, введшее обязательную воинскую повинность вместо двадцатипятилетней солдатчины. Он любил потолковать и о политике. Однажды предложил «вводить православие посредством пирогов», придумал «налог на пуговицы», от имени генерала Дитятина Горбунов заклея-

мил различные виды политического отступничества фразой: «В России всякое движение начинается с левой ноги, но с равнением направо».

Литературный кумир Дитятин – Державин. Ни Гоголя, ни Некрасова, ни Тургенева, ни Островского, ни Толстого он не признавал. И всегда жалел, что граф Бенкендорф был слишком либерален с «легкомысленным Пушкиным». И только на пушкинских торжествах 1880 года Дитятин открыл – фамилия Пушкин происходит от слова... «пушка»! Последнее несказанно порадовало его генеральское самолюбие.

Не чужд был Дитятин и науке. На его сочинениях «Превосходство кремневого ружья» и «О возможности столкновения на реке Шпрее» даже шах персидский собственноручно написал: «Благодарствую. Не оскудевай умом». И все-таки, в отличие от Козьмы Прутковэ, генерал Дитятин не умел держать перо. Только на обедах, литературных вечерах, торжествах, дружеских вечеринках, а то и просто на улице «шамшил» и брюзжал генерал Дитятин под раскатистый смех слушателей, утвер-

ждая непреклонность своих окаменевших воззрений. Бесчисленные остроумнейшие экспромты, реплики, каламбуры, изречения, импровизации на юбилеях Пушкина, А. Майкова, Григоровича, Айвазовского, на частых обедах друзей-бенефициантов – все сказанное Дитяτιным за тридцать лет исчезло безвозвратно. И теперь читаем мы только тост-экспромт в честь Тургенева, два дружеских остроумных письма, речь при открытии танцевальной залы да его небольшую записную тетрадь.

Популярный генерал Дитятин продолжает жить и после смерти своего создателя. Он становится нарицательным персонажем, «автором» литературных мистификаций. От имени горбуновского генерала читатели пишут анонимные сатирические письма в редакции газет. А в 1907 году в сборнике «Из архива генерал-майора и кавалера И. Ф. Дитятина 2-го. Мемуары и переписка» бездарный царский генералитет высмеян стилем горбуновского героя. Почти на каждой странице этого сборника суждения Дитятина соседствуют с изречениями его друзей – сатирических героев

Салтыкова-Щедрина. Таков этот очень поучительный и так несправедливо забытый сценический образ Горбунова, друга и союзника сатириков-искровцев.

Необыкновенную чуткость к слову, к его истории проявил Горбунов и в стилизациях челобитных, указов, грамот и писем XVII–XVIII веков, его подделки старинной письменности принимались за чистую монету даже знатоками русской старины. Известный историк и этнограф П. И. Савваитов, прочитав «Письмо русского боярина из Эмса», удивился существованию в XVII веке... рулетки. И еще более был поражен, узнав, что этот «боярин»... актер Горбунов.

В своих устных фельетонных сценках Горбунов едко пародировал слог судей, учителей, священнослужителей. Любил Иван Федорович высмеять стиль современных журналистов. Он опубликовал два номера «Ватерпаса» – газеты, уравнильной для всех партий. В этой оригинальной пародии остроумно соединены пустозвонство либеральной и скандальность бульварной прессы. Читая стихи, повести и романы своих современников, Гор-

бунов собирал материал для стилистической хрестоматии «Как писать не надо».

Веселый рассказчик Горбунов любил вспомнить и превратить в сатирический афоризм услышанное выражение. В уцелевшем отрывке его записной книжки есть такая ставшая крылатой фраза петербургского генерал-губернатора А. А. Суворова: «Я ему дело говорю, а он мне закон тычет». Здесь же и сечение учителя истории: «Надо же, что было тысячи лет тому назад, а что вчера было – не помню». И большинство записей Горбунова – это услышанное: «Крестьян отняли, теперь им очень скучно», «За слияние интеллигенции с капиталом» (тост), «Три любовника, а любить некого», «Ошиблись во взглядах: вы думали, что я дурак, а я думал, что вы умный», и т. д.

Эти ежедневные неутомимые поиски слов приводили иногда к совершенно неожиданным, оригинальным результатам. В журнале «Русская старина» Горбунов опубликовал саркастический словарь. Название – «Розгословие». Содержание – глаголы, употреблявшиеся при истязании русского человека полицей-

скими, сельским начальством, воспитателями духовных и светских училищ. Вздрючить, взъерепенить, изъерихонить, отжварить, отрезвонить, выпороть, отпороть, запороть и т. д. – целый словарь надругательств. И горькой иронией в годы жестокой реакции восьмидесятых годов звучал подзаголовок «Розговория»: «Слова, вместе с выражаемыми ими действиями, вышедшие из употребления в новой и свободной России после 19 февраля 1861 года».

Мертвящую реакцию восьмидесятых годов испытал на себе и Горбунов. В одном из писем горькое признание: «В последние два года я был окончательно выбит из репертуара и уже начал терять энергию. На сцену меня не пускали, а в публичных концертах и литературных вечерах, даже со своими собственными произведения «ми, появляться запрещено». И Горбунов отходит в своих рассказах от острой социальной тематики. Все чаще смежит он слушателей аристократических салонов и захмелевшую молодежь царского дома. Все реже, беззлобней знакомый голос генерала Дитятина. И его самая острая сатирическая

сценка «Общее собрание общества прикосновения к чужой собственности», созданная в 1883 году, – лебединая песнь в его обличительном творчестве. А Горбунову в это время было всего 52 года. Умер он в 1895 году. В последнее десятилетие он создает в основном нравоописательные очерки.

Иван Федорович Горбунов... Это имя стало синонимом неповторимости таланта. И в первую очередь – это неповторимость горбуновского языка. Многоцветность стилистической палитры Горбунова – яркое, поучительное доказательство неисчерпаемости выразительных средств русского языка. В его рассказах и очерках образный и меткий язык крестьянина, фабричных рабочих, купечества. Мы слышим речи деятелей суда и земства. Сценки Горбунова – уникальнейшая «магнитофонная» запись живой звучащей речи сороковых – восьмидесятых годов прошлого века.

Горбунов и сам много сделал для обогащения русской речи. Он окрылил многие выражения. Эта крылатость «горбуновских словечек» родилась из самого существа его нераздельного таланта писателя и актера-рассказ-

чика.

В миниатюрах Горбунова отсутствует интрига, а иногда и всякое действие. Это картинка жизни. И только через диалог вырисовывается психологический облик персонажей. Язык действующих лиц настолько характерен, так метки и индивидуальны реплики, что мы чувствуем до осязаемости обстановку, слышим интонации персонажей, лучше всяких ремарок улавливаем их психологическое состояние. Характерность, точность, краткость реплик и создает афористичность языка горбуновских миниатюр. «Словечки» Горбунова: «Кажинный раз на этом месте», «От хорошей жизни не полетишь», «Ядро особь статья, а бонба особь статья» и другие – нередко в своих полемических статьях использовал В. И. Ленин.

Чтением своих рассказов-миниатюр Горбунов приобрел неслыханную всероссийскую известность. Актер Горбунов совершал многочисленные поездки по России. Он создал эстрадный жанр устного рассказа, породил многочисленных последователей, литературных и сценических двойников. Уже в семидеся-

тых годах выходят поддельные «Сцены из народного быта» Горбунова в трех частях. Если «Сцены из народного быта» самого Горбунова издавались шесть раз, то эта подделка выдержала девять изданий. А десятое по какой-то непонятной причине появилось даже в 1923 году.

Один из бесчисленных друзей артиста, писатель-этнограф С. В. Максимов, вспоминает, как искажали бездарные подражатели один из шедевров Горбунова, сцену «У пушки»: «Рассказ этот был подхвачен различными добровольцами и разнесен по всем городам обширного царства. Шепелявые молокососы из недоучившихся гимназистов, скитальцы, «перелетные птицы» из неудавшихся и потерянных провинциальных актеров лезли с этим рассказом на подмостки увеселительных заведений, которые с середины пятидесятых годов вырастали, как грибы. Подражатели бессовестно, из слепого стремления к вящему успеху уродовали коротенький рассказ самодельными вставками, безобразно растягивали его до томительной скуки...»

А некоторые рассказчики и прямо выдава-

ли себя за знаменитого артиста. С одним из таких двойников встретился в провинции сам И. Ф. Горбунов.

Исследователь истории русской эстрады Е. М. Кузнецов в книге о Горбунове отмечал: «На садово-парковой эстраде шестидесятых – семидесятых годов стали появляться разные Горбунковы, Горбунчиковы, Горбунковские – беспомощные, жалкие копировщики, искажавшие облик Горбунова, вызывавшие совершенно ложное о нем представление как о развязном зубоскале псевдонародного толка, рассказчике плоских и пошлых бытовых анекдотов».

Появление подражателей – неизбежный спутник успеха. Но оно же и свидетельство своевременности появления таланта, каким и был Горбунов, вызвавший к жизни эстрадное искусство во всех уголках России.

Редкостный талант Горбунова и доброта его открытой русской души сделали его приятелем буквально всех выдающихся представителей русской литературы и искусства. С некоторыми из них он был в большой и сердечной дружбе. Это в первую очередь А. Н.

Островский, П. М. Садовский, Н. А. Некрасов, М. П. Мусоргский, А. Ф. Писемский, Д. Д. Минаев. «Милейшему и добрейшему Ивану Федоровичу Горбунову», – писали Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, И. Е. Репин, К. Маковский, В. А. Слепцов, А. Н. Плещеев, В. Курочкин и многие другие.

Неоднократно бывал Горбунов за границей. В первую поездку с А. Н. Островским в 1862 году они посетили в Лондоне А. И. Герцена, который произвел очень большое впечатление на Горбунова. Герцен поразил его «силою своего таланта» и «тем дьявольским остроумием», которым он, по словам Горбунова, отличался. И Горбунов после двух-трех рассказов, среди которых, кажется, был «Квартальный», завоевал симпатии Герцена. Последний пришел в неописанный восторг, горячо обнял Горбунова, расцеловал его и подарил на память фотографическую карточку, где он снят с Огаревым.

По воспоминаниям современника, очень тепло отзывался о таланте Горбунова-рассказчика Л. Н. Толстой: «Горбунов подобен плотнику, который, натянув белую нитку, намеча-

ет черту и рубит по ней. Вот-вот сорвется... в шарж, но, нет – как искусный мастер остается на верной черте. Чистая работа!»

А. П. Чехов писал: «Горбуновский рассказ, несмотря на незатейливую, давно уже заезженную тему, хорош – форма! Форма иного значит...» По свидетельству современника, он сказал о Горбунове по-чеховски кратко и выразительно: «Чует человек Россию!»

Необыкновенный талант, создатель целого направления в русской эстраде, автор поэтических рассказов в лицах, полных юмора, мягкой иронии, а порой и сатиры, создатель оригинального образа Дитятина, неподражаемый Иван Федорович Горбунов, по словам Мусоргского, «не умрет, а будет вовек жить в русской земле».

Вся история русской эстрады в жанре устного рассказа прошла под знаком горбуновских традиций. Всенародное признание И. Ф. Горбунова и путь, проложенный им на эстраде, обусловили появление таких выдающихся рассказчиков, как В. Н. Андреев, Бурлак, В. Н. Давыдов. Для всех актеров-рассказчиков творчество Горбунова стало образцом и символом

подлинно художественной эстрады. Актерские заветы Горбунова сохранились не только в воспоминаниях и устных преданиях, но и в его сценках, где так и слышится голос самого Горбунова. Достаточно вспомнить, с каким успехом читал И. М. Москвин сцену «У Пушки», Владимир Хенкин – монологи «Тенериф» и «Нана», а артист Малого театра В. Ф. Лебедев – многие рассказы Горбунова.

Виртуозная исполнительская техника, живописное рассказывание и импровизация отца русской эстрады И. Ф. Горбунова живет и ныне – и в устных рассказах Ираклия Андроникова, и в басенном перевоплощении Игоря Ильинского, да и в каждом чтеце, который стремится быть актером, передающим не букву, а душу написанного. Изучение творческого опыта И. Ф. Горбунова, приобщение к его самобытнейшему дарованию пробудит, будем надеяться, новых достойных преемников редкостного и веселого таланта этого замечательного рассказчика.

Горбунов будет всегда памятен нам и как историк русского театра и первый его музеограф. В фойе Александринского театра на

свои средства он создал первый театральный музей России. Сам выходец из крестьян, Иван Федорович Горбунов любил водить по своему музею посетителей и, показывая на портреты знаменитых актеров, с гордостью за русский народ говорил: «Крестьянин!.. Крестьянин!.. И это крестьянин!..»

Н. СВЕРЧКОВ.

Примечания

Берг И. В. (1823–1884) – поэт, переводчик, педагог, учитель Горбунова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

[^^^]

«Свои люди – сочтемся». Эту пьесу А. Н. Островский начал писать в 1846 году. Послав в 1849 году свою комедию в цензуру, автор получил следующий отзыв цензора Гедеонова: «...Все действующие лица...отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны; вся пьеса обида для русского купечества» (А. Н. Островский. Полное собрание сочинений, т. 1, М., 1949, стр. 403). Пьеса приобрела широкую известность еще в рукописи. Ее читали в Москве П. М. Садовский, М. С. Щепкин и сам автор.

Ее публикация с большими цензурными изъятиями в журнале «Москвитянин» (1850, № 6) вызвала крайнее недовольство влиятельных московских купцов. Николай I распорядился направить ее в особый цензурный комитет и на докладе комитета написал: совершенно справедливо, напрасно напечатано, играть же запретить». Царь потребовал сведений о жизни и образе мыслей Островского и, получив доклад, отдал 1 июня 1850 года распоряжение: «Иметь под присмотром». И одна из лучших комедий Островского была

разрешена к постановке только через 11 лет. Премьера состоялась 16 января 1861 года в Петербурге на сцене Александрийского театра. Горбунов играл роль Тишки.

[^^^]

А. Н, подарил мне оттиски с авторской надписью. – *И. Г.*

[^^^]

4

«Лев Гурыч Синичкин» – водевиль Д. Т. Ленского.

[^^^]

Водевиль «Комната с двумя кроватями». – *И. Г*

[^^^]

6

Во вкусе Фанни Эльслер (*франц.*).

[^^^]

В записных книжках И. Ф. Горбунова записано продолжение этого стихотворения:

*Вспоминали вы не раз,
 Как Москва, без битвы, даром,
 Опаленная пожаром,
 Супостату отдалась.
 И душою возмущенной,
 Как бы слыша гул и стон
 Той эпохи отдаленной,
 На горе у нас Поклонной
 Положили вы поклон.
 Да, мне милы и за то вы,
 Что нередко посещали
 Наши вы монастыри;
 Пенью иноков внимали
 И под Синодальным ждали
 Появление зари.*

Прим, редакции. Сочинений Горбунова.
 СПб. 1 т, 3, 1907 г.

[^^^]

«Параша Сибирячка» – драма Н. А. Полевого.

[^^^]

«Я был на первом представлении...» – Комедия А. Н. Островского «Не в свои сани не садись» поставлена в первый раз в Москве, в Малом театре 14 января 1853 года.

[^^^]

Бебутов В. О. (1791–1858) – генерал, армянский князь, герой русско-турецкой войны 1853–1855 годов.

[^^^]

Сераскир – начальник турецких войск, военный министр.

[^^^]

Стахович М. А. (ум. в 1858 г.) – писатель, драматург, переводчик; примыкал к «молодой редакции» журнала «Москвитянин». В сценах из народного быта Стаховича «Ночное» в роли пастуха Вани дебютировал И. Ф. Горбунов на сцене Александрийского театра 16 ноября 1855 года.

[^^^]

Миллер Ф. Б. (1818–1881) – поэт-переводчик Шиллера, Гейне, Мицкевича, Шекспира, в 1859–1881 годах издавал юмористический журнал «Развлечение».

[^^^]

Хомяков А. С. (1804–1860) – поэт, философ, один из основных представителей славянофильства.

[^^^]

Боклевский П. М. (1816–1897) – известный художник, иллюстратор произведений Гоголя и Островского.

[^^^]

Алмазов Б. Н. (1827–1876) – поэт, фельетонист, критик, член «молодой редакции» журнала «Москвитянин».

[^^^]

Крутицкие казармы расположены на Арбатской улице нынешнего Пролетарского района Москвы. В то время служили местом предварительного заключения и пересылочным пунктом для рекрутов.

[^^^]

18

Фухтель – удар по спине плашмя обнаженной шпагой.

[^^^]

Линек – кончик линя, толстой веревки, употреблявшейся для телесных наказаний матросов.

[^^^]

«Московский трактир обругал Наполеона жуликом» – Наполеона III, французского императора с 1852 по 1870 год, племянника Наполеона I Бонапарта.

[^^^]

«Бедность не порок» – написана А. Н. Островским в 1853 году и вышла отдельной книжкой в 1854 году. Впервые поставлена в Москве в Малом театре 25 января 1854 года. По поводу этой пьесы разгорелась острая полемика демократической критики со славянофилами. Особое значение имела статья Н. Г. Чернышевского в «Современнике» (1854, № 5), где он писал: «Островский впал в притворное прикрашивание того, что не может и не должно быть прикрашиваемо» (*Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 2, М., 1949, стр. 240*).

[^^^]

Рамазанов Н. А. (1815–1867) – скульптор академик, профессор Московского училища живописи и ваяния. В 50-х годах был близок к «молодой редакции» журнала «Москвитянин», в котором помещал рассказы из жизни художников и статьи по вопросам искусства.

[^^^]

Эдельсон Е. И. (1824–1868) – член «молодой редакции» журнала «Москвитянин», литературный критик.

[^^^]

Один из друзей Александра Николаевича, который тогда и впоследствии собирал и хранил все черновые рукописи его пьес. Где теперь эти рукописи? – И, Г.

[^^^]

Миша – Садовский М. П. (1847–1910) – знаменитый русский актер.

[^^^]

Шаповалов Н. И. – либеральный чиновник Дворцовой конторы в Москве, В 50 – 60-х годах – организатор и режиссер любительского драматического кружка, ставившего свои спектакли на квартире Н. И. Давыдова у Красных ворот. Был близок к «молодой редакции» журнала «Москвитянин», в котором помещал научно-популярные статьи.

[^^^]

Дивертисмент – дополнение к главному представлению.

[^^^]

Филиппов Т. И. (1825–1899) – член «молодой редакции» журнала «Москвитянин», впоследствии реакционный публицист, сенатор.

[^^^]

Литания – род краткого богослужения.

[^^^]

Капуцин – монах католического францисканского ордена.

[^^^]

Отец мой (*итал.*).

[^^^]

Святая (*итал.*).

[^^^]

Святая Триаиса (*итал.*).

[^^^]

Крылов Н. И. (1808–1879) – профессор римского права Московского университета.

[^^^]

Рулье К. Ф. (1814–1858) – выдающийся русский биолог-эволюционист, профессор Московского университета.

[^^^]

Фришман И. К. – известный скрипач.

[^^^]

Бантышев А. О. (1804–1860) – знаменитый русский оперный певец, тенор.

[^^^]

Марио (1810. – 1883) – знаменитый итальянский певец, тенор.

[^^^]

Утешительный – герой комедии Н. В. Гоголя «Игроки».

[^^^]

Чесноков – настоящая фамилия актера Шуйского.

[^^^]

Кудрявцев П. Н. (1816–1858) – историк, профессор Московского университета, друг Грановского.

[^^^]

«Жакартов станок» – стихотворение «Труженик» немецкого революционного поэта Артура Фрейлиграта, перевод Ф. Миллера (1851). Это стихотворение, запрещенное цензурой, Горбунов, как и многие мемуаристы о Щепкине, назвал «Жакартов станок». Дело в том, что Щепкин, воспользовавшись постановкой комедии Фурнье «Станок Жакара», читал это стихотворение от имени переплетчика Жакара, роль которого он исполнял. Пьеса была поставлена в Малом театре впервые в 1858 году, а стихотворение «Труженик» Щепкин читал еще в 1853 году.

[^^^]

Корши – семейство В. Ф. Корша, в 50-х годах редактора газеты «Московские ведомости». В доме Корша собирались писатели, журналисты, ученые.

[^^^]

Акафист – молитвенно-хвалебное песнопение.

[^^^]

Кузьма Терентьевич Солдатенков. – *И. Г. Солдатенков К. Т.* (1818–1901) – московский миллионер, известный меценат, книгоиздатель и собиратель живописи.

[^^^]

Ермолов А. П. (1772–1861) – генерал, герой Отечественной войны 1812 года.

[^^^]

Сценические пейзажи – идиллический образ крестьянина в театре.

[^^^]

Кукольник Н. В. (1809–1868) – русский реакционный писатель, автор верноподданнических ходульных драм.

[^^^]

Имеется в виду эпиграмма:

*Со взглядом пьяным, взглядом уз-
ким,
Приобретенным в погребу,
Себя зовет Шекспиром русским
Гостинодворский Коцебу.*

(Н. Ф. Щербина. Стихотворения. Л., 1937,
стр. 189)

[^^^]

Рашель Элиза (1821–1858) – французская трагическая актриса. Гастролировала в Петербурге и Москве в 1853–1854 годах.

[^^^]

«Рашель и правда» (элегия-ода-сатира) была опубликована в «Москвитяине» (1854, № 4). Восхищение Григорьева славянофильскими тенденциями пьесы Островского «Бедность не порок» вызвало резкое осуждение прогрессивной критики. В «Современнике» (1854, № 3) появилась фантастическая сцена «Литературные гномы и знаменитая актриса», где высмеивалась «молодая редакция» «Москвитянина». Это стихотворение Григорьева теперь печатается под названием «Искусство и правда».

[^^^]

Протест Островского был напечатан в № 8 «Современника» за 1856 год, а исчерпывающее «Литературное объяснение» – в газете «Московские ведомости» 5 июля 1856 года, № 80 (Полное собрание сочинений, т. 14, М., 1952, стр. 49–52, 53–54).

[^^^]

«Свои собаки грызутся» – пьеса А. Н. Островского, опубликована впервые в журнале «Библиотека для чтения» (1861, № 3). Первая постановка пьесы состоялась на сцене Малого театра 27 октября 1861 года; в Петербурге на сцене Александрийского театра 3 ноября 1861 года. В главной роли Бальзамина выступил И. Ф. Горбунов.

[^^^]

Ошибка Горбунова– Ротчев напечатал статью за подписью Р. не в газете «Русский инвалид», а в «Северной пчеле» 19 ноября 1861 года, № 259. Ответ Горбунова за подписью Г. был помещен в той же «Северной пчеле» 2 декабря 1861 года, № 275.

[^^^]

О мертвых (*лат.*) – начало латинского изречения. «De mortuis aut bene, aut nihil – «О мертвых или хорошо, или ничего».

[^^^]

Юркевич П. И. – музыкальный критик.

[^^^]

Пустынь – небольшой монастырь в малолюдной местности, а также отдельные жилища монахов вне монастырей.

[^^^]

Кидошенков П. Б. – друг А. Н. Островского,
московский купец.

[^^^]

Чернышев И. Е. (1833–1863) – драматург, беллетрист, артист Александрийского театра.

[^^^]

Владыкин М. Е. (1830–1887) – драматург, артист Малого театра. В пьесе Владыкина «Образованность» Горбунов впервые дебютировал на сцене Малого театра 16 ноября 1854 года в роли молодого купца.

[^^^]

Родиславский В. И. (1828–1885) – начальник секретного отделения канцелярии московского губернатора, драматург и переводчик, бес-
сменный секретарь Общества русских дра-
матических писателей, основанного А. Н. Ост-
ровским в 1874 году.

[^^^]

Полевой И. А. (1796–1846) – писатель, журналист и историк, издатель журнала «Московский телеграф».

[^^^]

Ободовский П. Г. (1805–1864) – драматург, переводчик.

[^^^]

Роль Симона в пьесе «Матрос» Соважа и Делюрье – одна из ярких в щепкинском репертуаре. Щепкин с поразительным актерским мастерством передал силу воли, любовь к людям и родине простого матроса Симона, который после двадцатилетнего отсутствия посещает родной дом и уходит из него, не открыв своего имени, чтобы не разрушить счастливую жизнь новой семьи.

[^^^]

При постановке «Гамлета» в бенефис Самарина М. С. Щепкин собрал у себя артистов, участвовавших в пьесе. – *И. Г.*

[^^^]

Стихотворный пролог А. А. Григорьева «Рашель и правда».

[^^^]

Имеется в виду статья В. Г. Белинского «Александрийский театр. «Велизарии», где критик дал очень высокую оценку актерскому искусству В. А. Каратыгина, исполнявшего роль Велизария. Статья была опубликована в «Литературном прибавлении к «Русскому инвалиду» 25 ноября 1839 года (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 3, М., 1953, стр. 315–324).

[^^^]

«Молодая редакция» «Москвитянина» отрицательно относилась ко всем западникам и революционерам-демократам, в том числе и к Белинскому.

[^^^]

«Велизарий» – трагедия в пяти действиях Эдуарда Шенка (перевод П. Г. Ободовского) о полководце Византийской империи Велизарий (505–565), обвиненном в заговоре против императора Юстиниана I.

[^^^]

Челлини Бенвенуто (1500–1571) – знаменитый итальянский скульптор, ювелир, медальер.

[^^^]

Перефразировка последней строфы стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор».

[^^^]

«Заколдованный дом» – трагедия Луфенберга,
перевод П. Г. Ободовского.

[^^^]

Петербург любил этого артиста. В водевилях он играл необыкновенно весело и развязно, зато эту веселость и развязность он переносил и на серьезные роли, например Хлестакова, который являлся в его исполнении лицом водевильным, даже с примесью шаржа. В ролях первых любовников он являлся необыкновенным франтом, и недостаток воодушевления возмещал часто криком. И это франтовство он переносил на роли, которые этого совсем не требовали, например, в роли Чацкого он выходил во фраке, фалды которого были из белого атласа, а крик его в последнем акте «Горе от ума», я уверен, видевшие его в этой роли до сих пор помнят.

«Бегу не... огля-нись, пойду искать-пша-свету» и т. д.

– Не играет, а ревет, – сказал один раз про него А. Ф. Писемский.

Впрочем, я, может, ошибаюсь, меряя на свой московский аршин. Мне многое казалось нехорошо, чему публика рукоплескала.

Критика того времени не замечала почет-

ному артисту этих недостатков, а может быть, это было во вкусе времени: редко кого так радушно и весело встречала и провожала публика. – *И. Г.*

[^^^]

«Жизнь игрока». – «Тридцать лет, или Жизнь игрока» – пьеса Дюканжа, перевод Р. М Зотова.

[^^^]

«Скопин-Шуйский». – «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» – драма в стихах Н. В. Кукольника.

[^^^]

А. Е. Мартынов в пьесе А. Потехина «Чужое добро впрок нейдет», впервые поставленной на сцене Александрийского театра 16 декабря 1855 года, исполнял роль Михайлы.

[^^^]

В комедии В. А. Соллогуба «Чиновник», вышедшей отдельной книжкой в 1856 году, мелкий чиновник Надимов говорит: «Надо вникнуть в самих себя, надо исправиться, надо крикнуть на всю Россию, что пришла пора... искоренить зло с корнями... и лучшее порицание дурному – пример хорошего». Этот отказ от борьбы со злом получил резкую отповедь всей демократической критики. Н. Г. Чернышевский в статье «Заметки о журналах» («Современник», 1856, № 7, 8) поддержал статью Н. Ф. Павлова в журнале «Русский вестник» (1856, № 11, 14) и дал резкую критику комедии с революционно-демократических позиций (*Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений*, т. 3, М., 1949, стр. 661–668, 678–684).

[^^^]

А. Е. Мартынов в комедии Чернышева «Не в деньгах счастье», поставленной в Александрийском театре 30 января 1859 года, исполнял роль Боярышникова, а в драме Островского «Гроза», поставленной в том же театре 26 декабря 1859 года, – роль Тихона.

[^^^]

Горбунов ошибается. Эту пьесу Островский задумал еще в 1855 году, но отложил работу над ней до апреля 1858 года. Основная работа над этой пьесой протекала в октябре, о чем и вспоминает Горбунов. «Воспитанница» в печати появилась только в январской книжке журнала «Библиотека для чтения» за 1859 год. Пьеса была запрещена театральной цензурой и разрешена к постановке только в 1863 году. 21 октября 1863 года впервые поставлена на сцене Малого театра, в Александрийском театре – 23 ноября 1863 года. Роль Гриши исполнял И. Ф. Горбунов.

[^^^]

«Столбовые Английского клуба» – именитые, столбовые дворяне, члены Английского клуба в Москве.

[^^^]

Альминское побоище – сражение на реке Альме в Крыму 8 сентября 1854 года, закончившееся поражением русских войск.

[^^^]

«*Юрий Милославский*» – роман М. Н. Загоскина.

[^^^]

«*Роберт-дьявол*» – опера французского композитора Мейербера.

[^^^]

«Аскольдова могила» – опера А. Н. Верстовского.

[^^^]

...«*Вот на пути село большое*» – песня на слова Н. Анордиста.

[^^^]

Люстриновая сибирка – короткий кафтан из полшерстяной материи с гляncем.

[^^^]

Керженские скиты – небольшие поселки монастырского типа в глухих местах по реке Керженцу Нижегородской губернии, заселенные беглыми старообрядцами.

[^^^]

Лестовка – кожаные четки у старообрядцев.

[^^^]

Ломберный стол – четырехугольный стол, обтянутый сукном, для игры в карты.

[^^^]

Демественные стихи – стихи старинного церковного напева в один голос.

[^^^]

Триодь – книга церковных песнопений.

[^^^]

Кушайте, сударыня (*франц.*).

[^^^]

Ах, благодарю, синьор! (*франц.*)

[^^^]

Что он говорит? (*франц.*)

[^^^]

Люблю (франц.).

[^^^]

И я тоже! (*франц.*)

[^^^]

Лонгинов М. Н. (1823–1875) – библиограф, критик, в 50-х годах печатался в «Современнике» Некрасова под псевдонимом «Скорбный поэт», выступал за свободу печати; в 60-х годах эволюционировал вправо; с 1871 года стал начальником Главного управления по делам печати и проявил себя как ярый ненавистник прогрессивных изданий.

[^^^]

Дебют Горбунова в Малом театре состоялся 16 ноября 1854 года. Горбунов играл роль молодого купца.

[^^^]

Народился новый анекдот: «Стоит за кулисами нянька и плачет. «– О чем ты плачешь?» – «Барышня пляшет: жалко. Из хороша го семейства...» – // . Г.

[^^^]

Горбунов неточно цитирует строфу из стихотворения Н. А. Некрасова «О погоде», У. Некрасова:

*Даже ты, Варсонофий Петров,
Подле вывески: «Делают гробы»
Прицепил полужонные скобы
И другие снаряды гробов...*

[^^^]

Некрасова «Сатиры». – *И. Г.*

[^^^]

Боборыкин П. Д. (1836–1921) – известный романист и театральный деятель, преподавал технику актерской игры.

[^^^]

Драматическое общество – Общество драматических писателей и оперных композиторов. Его основателем в 1874 году и бессменным председателем до конца своей жизни был А. Н. Островский.

[^^^]

Ангажемент – приглашение артиста с определением сроков и условий.

[^^^]

«Благородный отец» – актер, исполняющий роли благородных отцов.

[^^^]

Щепкин – *И. Г.*

[^^^]

Мочалов. – *И. Г.*

[^^^]

Садовский. – И. Г.

[^^^]

Василъев. – *И. Г.*

[^^^]

Под именем трагика Хрисанфа Горбунов изобразил выдающегося русского актера Николая Хрисанфовича Рыбакова (1811–1876).

[^^^]

Ежегодная ярмарка в Коренной пустыне под Курском, где в церковный праздник 8 сентября собиралось до 70 тысяч богомольцев.

[^^^]

Ляпунов, видный политический деятель
Смутного времени, – герой ходульной драмы
Н. В. Кукольника «Князь Михаил Васильевич
Скопин-Шуйский».

[^^^]

Вальтрап – покрывало для лошадей из толстого сукна.

[^^^]

Ода «Бог» – ода Г. Р. Державина.

[^^^]

На ежегодной ярмарке в городе Ирбите Пермской губернии, ныне Свердловской области, продолжавшейся с 1 февраля по 1 марта. Ирбитская ярмарка, собиравшая несколько тысяч купцов, была второй по значению после Нижегородской.

[^^^]

Мешалкин Василий – актер первой русской труппы.

[^^^]

Яган Готфрет – Грегори Иоганн Готфрид – руководитель первого русского придворного театра, основанного 4 июня 1672 года.

[^^^]

П. О. Морозов. История русского театра, стр. 138. – *И. Г.*

[^^^]

«Записки Щепкина». – *И. Г.*

[^^^]

«Биография Садовского», «Русский вестник»
№ 7, 1872 г., стр. 435. – *И. Г.*

[^^^]

«Записки Косицкой», «Русская старина»,
1878 г., кн. 1,11,1V. – Я. Г

[^^^]

«Графиня Клара д'Обервиль» – драма в переводе П. А. Каратыгина, в 1840-х годах шедшая с успехом на сцене многих театров.

[^^^]

Знаменитая ярмарка в городе Макарьеве Нижегородской губернии, переведенная после пожара в Макарьеве в 1817 году в Нижний Новгород.

[^^^]

Павел Степанович – П. С. Мочалов.

[^^^]

Так он называл трагика Каратыгина. – *И. Г*

[^^^]

Светская женщина (*франц.*).

[^^^]

Субретка – персонаж комедий и водевилей, плутоватая горничная, обычно поверенная своей госпожи.

[^^^]

«*Материнское благословение*» – драма (перевод Н. Перепельского, псевдоним Н. А. Некрасова), имевшая большой успех.

[^^^]

Комильфотный – отвечающий всем светским правилам.

[^^^]

Алан – актер французской драматической труппы в Петербурге.

[^^^]

Спаржа – выросшие под землей стебли спаржи употребляются в пищу.

[^^^]

Каплун с трюфелями – изысканное блюдо. Специально откормленный и зажаренный петух с приправой из трюфелей – съедобных грибов.

[^^^]

Арну-Плесси – известная французская актриса.

[^^^]

На закуску (*франц.*).

[^^^]

Продолжения «Белой залы» Горбунов не написал.

[^^^]

Левассер Пьер (1808–1870) – французский комический актер.

[^^^]

Простак (*франц.*).

[^^^]

Александр Благословенный – русский царь
Александр I

[^^^]

Камлотовый – из камлота – плотной шерстяной ткани в полоску.

[^^^]

Потапов А. Л. (1818–1886) – генерал, в 1862–1864 годах начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III отделением.

[^^^]

Маркевич Б. М. (1822–1884) – романист

[^^^]

Henry Monnier – Анри Монье (1805–1877).
Французский драматург, актер и карикатурист.

[^^^]